

Гениальный химик
изобретает сыворотку правды.
Наказание неизбежно.

КАРИН БОЙЕ

КАЛЛОКАИН

Каллокаин
Карин Бойе

Аннотация
Карин Бойе. Каллокаин
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
* * *
— — —
Заключение цензора

Аннотация

«Каллокаин» – завоевавшая мировую известность антиутопия, написанная шведской писательницей и поэтессой Карин Бойе. Роман стоит в одном ряду с такими знаменитыми антиутопиями, как «1984» Джорджа Оруэлла, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и «Мы» Евгения Замятина.

Номинация на премию «Прометей» и Retro-Hugo за лучшую научную фантастику.

Экранизация в 1981 году.

Мировая империя – совершенное государство будущего. Здесь для осуществления тотального контроля за людьми открыто ведется наблюдение. А доносы являются долгом каждого порядочного гражданина.

Химик Лео Калль – верный сторонник правящего режима. Он разрабатывает сыворотку правды «каллокаин», которая способна раскрывать чувства и самые сокровенные мысли людей. Теперь предатели будут разоблачены один за другим.

Очень скоро Лео начинает подозревать свою жену в измене и решает с помощью

сыворотки узнать правду. Но разве не удивительно, что все на свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принудительным?

Об авторе

Карин Бойе – шведская писательница, поэтесса, переводчица, критик, одна из наиболее ярких представительниц «новой волны» в литературе. «Каллокаин» – последнее произведение, опубликованное при жизни автора, он был написан за год до самоубийства Бойе. Посмертный сборник ее стихотворений «Семь смертных грехов» вышел в 1941 году.

Карин Бойе
Каллокаин

Karin Boye
KALLOCAIN

© Дмоховская И., перевод на русский язык, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

* * *

То, что я сижу и пишу книгу, наверное, многим покажется бессмыслицей. Не знаю, впрочем, уместно ли тут слово «многие», ведь вряд ли кто-то вообще узнает об этом. Я начал писать не по чьему-либо принуждению, а добровольно, хотя и сам не могу объяснить зачем. Это стало моей потребностью — вот и все объяснение. В наши дни, когда ничего не делается без определенной цели, я один поступаю вопреки принятым нормам. Хотя все двадцать лет, что я проработал за решеткой, в химической лаборатории врага, были заполнены лихорадочным трудом, какая-то часть моего существа словно оставалась свободной и искала чего-то другого. Во мне совершалась внутренняя работа, и я, даже не всегда сознавая ее смысл, чувствовал, что она для меня всего важнее, и ждал, когда и чем она разрешится… Наверное, это случится, когда я закончу книгу. О, отлично понимаю, как нелепо выглядит мое занятие на фоне всеобщего рационалистического мышления и прагматизма, но остановиться уже не могу.

Может быть, раньше я просто не решался взяться за перо; может быть, меня побудила к этому жизнь в заключении — не знаю. Условия, в которых я сейчас нахожусь, не слишком отличаются от тех, что были у меня на свободе. Пища чуть-чуть похуже, но к этому можно привыкнуть. Койка немного жестче той, на которой я спал дома — в Четвертом Городе, городе Химиков, но и к этому нетрудно приспособиться. Реже выхожу на свежий воздух, но и это в конце концов не беда. Хуже другое — разлука с женой и детьми, тем более что до сих пор я так ничего и не знаю о их судьбе. Первые годы меня непрерывно мучили беспокойство и страх, но время как-то все сгладило, и в общем я примирился со своим существованием. Сейчас мне нечего бояться. У меня нет ни подчиненных, ни начальников, разве только надзиратели. Но они редко мешают моей работе и следят лишь за тем, чтобы я выполнял правила внутреннего распорядка. Нет у меня ни покровителей, ни конкурентов. Чтобы я был в курсе новейших достижений химии, время от времени мне устраивают встречи с учеными; они беседуют со мной деловито и вежливо, иногда — из-за того, что я иностранец, — чуть-чуть снисходительно. Знаю, что ни у кого из них нет

оснований завидовать мне. Короче говоря, в некоторых отношениях мне живется даже легче, чем на свободе. Но странное дело: чем больше я привыкал к новому образу жизни, тем больше давала о себе знать та внутренняя работа, о которой я уже говорил. Мне не будет покоя, пока я не разделаюсь с мыслями о прошлом и не запишу свои воспоминания. Поскольку я занимаюсь наукой, писать мне разрешено. Как правило, в процессе работы никто меня не контролирует, так что я могу спокойно растянуть это удовольствие — может быть, последнее в моей жизни.

Итак, я приступаю. Когда все это началось, мне было около сорока. Пожалуй, нужно сказать несколько слов о себе, поэтому прежде всего расскажу, какой представлялась мне тогда жизнь. Мне кажется, ничто так не характеризует человека, как его видение жизни, тот образ — будь то дорога, поле, растущее дерево или бурный океан, — с которым связывается в его сознании понятие жизни. Что до меня, то я и в зрелом возрасте походил на примерного школьника. Жизненный путь представлялся мне чем-то вроде лестницы: задыхаясь, я торопливо одолеваю ступеньку за ступенькой, а за мной по пятам следуют соперники. Впрочем, в действительно-

сти у меня было не так уж много соперников. Большинство моих коллег свои честолюбивые помыслы связывали с военной службой; работу они рассматривали как необходимое, но скучное приложение к вечерним военным занятиям. Я никогда не признался бы им, что химия для меня важнее военного дела, хотя и был вовсе не плохим солдатом. В общем, я продвигался вверх по лестнице, никогда особенно не задумываясь ни над тем, сколько ступеней пройдено, ни над тем, что ожидает меня на самом верху. Здание жизни представлялось мне в виде наших обычных городских домов, где из глубин земли можно подняться на крышу-террасу к свежему воздуху, ветру и дневному свету. Что именно на моем жизненном пути должно соответствовать воздуху и свету, я и сам не знал. Но зато четко и определенно фиксировалась каждая пройденная ступенька. Я отсчитывал их в соответствии с официальными уведомлениями начальства о сдаче экзамена, об успешном проведении того или иного эксперимента, о переводе на более ответственную должность. Один этап сменялся другим, но я никогда не уставал с волнением ждать следующего. Именно поэтому в тот памятный день меня слегка лихорадило после краткого

телефонного разговора, из которого я узнал, что завтра ко мне в лабораторию придет инспектор и что, следовательно, мне теперь разрешено экспериментировать с человеческим материалом. Значит, завтра подвергнется решающему испытанию мое самое значительное открытие.

До конца рабочего дня оставалось еще десять минут, но я был так взбудоражен, что ничего не мог делать. Пришлось схитрить — кажется, впервые в жизни. Медленно и осторожно я начал убирать приборы в шкафы, все время поглядывая сквозь стеклянные стены, не видит ли кто, чем я занимаюсь. И как только послышался звонок, возвещающий конец работы, я выскочил из лаборатории и одним из первых побежал по длинному коридору. Торопливо помывшись под душем, я сменил рабочий комбинезон на форменную одежду свободного времени, вскочил в лифт и через несколько секунд очутился на улице. Поскольку мы жили поблизости от места моей работы, у меня был постоянный пропуск для выхода на поверхность, и я никогда не упускал возможности пройтись по свежему воздуху.

Когда я проходил мимо станции подземки, мне пришло в голову, что стоит подождать Линду. От пищевого концерна, где она работала, ехать

не меньше двадцати минут, и она, конечно, еще не успела добраться до дому. Поезд только что прошел, поток людей, хлынувший из-под земли, забурлил у прохода, где проверяли пропуска для выхода на поверхность, и медленно растекся по ближайшим улицам. Над пустыми сейчас крышами-террасами, над бесчисленными рулонами серого и зеленого брезента, с помощью которых можно было за десять минут замаскировать город, чтобы неприятель не смог увидеть его с воздуха, кишела толпа возвращавшихся домой людей в форменной одежде свободного времени. И внезапно мне пришло в голову, что все они, как и я, стремятся к одному — пробиться наверх.

Эта мысль захватила меня. Я знал, что раньше, в цивильную эпоху, люди работали и тратили силы ради более просторных жилищ, лучшей пищи или роскошной одежды. Теперь это никому не требовалось. Стандартные квартиры — однокомнатные для холостяков, двухкомнатные для семьи — одинаково предоставлялись всем независимо от чинов и заслуг. И генерала, и рядового обеспечивала едой одна и та же домовая кухня. Форма одежды: одна для работы, другая для свободного времени, третья — для военной и полицейской службы — одинакова для всех, без

различия пола и должности. Я мог бы поручиться, что для любого подданного Мировой Империи высшее достижение, которого можно добиться в жизни, рисовалось в форме всего лишь трех черных полосок на рукаве, свидетельствовавших о самом высоком воинском звании. Они гарантировали и самоуважение, и почтение других. Дело не в материальных благах. Мне кажется, что и двенадцатикомнатные виллы, которыми владели капиталисты давно прошедшей цивильной эпохи, имели для своих хозяев значение скорее символическое — как залог и воплощение всеобщего почитания, ибо это единственное, чем невозможно пресытиться. Каждый хочет добиться преклонения других — этого самого желанного, самого труднодостижимого и зыбкого из всех преимуществ, которые дает высокое положение. Но именно на этой непрочной основе строился во все века наш твердый общественный порядок. Так я размышлял, стоя у входа в подземку. Прошло четыре поезда, четыре раза толпа выливалась на свет, пока наконец не появилась Линда. Я поспешил ей навстречу, и мы зашагали рядом.

Разговаривать мы, конечно, не могли — все звуки заглушал шум самолетов, круглосуточно

совершавших учения, но Линда заметила, что я чем-то обрадован, и кивнула приветливо, хотя, как всегда, несколько сдержанно. Только когда мы вошли в дом и спустились в лифте на свой этаж, наступила относительная тишина. Правда, здесь слышался шум метро, от которого вздрагивали стены, но он был вполне терпим. Никто из нас не раскрыл рта, пока мы не зашли в квартиру. Если бы нам вздумалось начать разговор в лифте, любой оказавшийся рядом непременно заподозрил бы, что мы обсуждаем дела, о которых не следует знать детям и горничной. Бывали уже такие случаи, когда враги Империи и прочие преступники пытались использовать кабины лифтов для тайных встреч: дело в том, что по техническим причинам в лифты невозможно вмонтировать специальные приборы «ухо полиции» и «глаз полиции», а у вахтера и без того много дел, и он не может бегать и подслушивать на лестнице.

Итак, мы молча вошли в свою комнату. Наша горничная уже успела накрыть на стол и привести детей с домовой детской площадки. Я и Линда дружески поздоровались с ней. Мы вообще были с ней в хороших отношениях, потому что она была аккуратной и симпатичной девушкой, а не

потому только, что долг предписывал ей, как и всем горничным, еженедельно подавать рапорт о нашей семье.

В квартире царили уют и радость. Особенно приятно, что вместе со всеми сидел и наш старший сын Оссу. Сегодня был семейный вечер, так что и он смог прийти в гости из Барнлэгер[1].

— А у меня хорошие новости, — сказал я Линде, когда все принялись за картофельный суп. — Завтра начну экспериментировать с людьми. В присутствии инспектора, конечно.

— А ты знаешь, кто это будет? — спросила Линда.

Ее невинный вопрос заставил меня вздрогнуть. С одной стороны, казалось бы, совершенно естественно, что жена спрашивает мужа, кто будет у него инспектором, ведь от его придирчивости зависела продолжительность испытаний. Случалось также, что иной честолюбивый инспектор присваивал себе чужое открытие, и с этим, как правило, ничего нельзя было поделать. Так что желание близкого человека узнать, с кем мне придется работать, вполне закономерно. Но мне почудился в голосе Линды особый оттенок. Мо-

---

[1] notes: 1
Городок для детей.

им непосредственным начальником и первым кандидатом в инспектора был Эдо Риссен, а он раньше работал в том же пищевом концерне, что и Линда. Я знал, что по долгу службы им часто приходилось общаться друг с другом, и по некоторым признакам догадывался, что моя жена испытывает к нему симпатию. И вот теперь ее вопрос внезапно пробудил во мне ревность. Насколько они были близки? На большой фабрике легко найдется место, где двое могут укрыться от посторонних взглядов, на складе например. Кладовщик не всегда сидит на месте, а вдоль стеклянных стен громоздятся груды ящиков и тюков. Кроме того, Линде, как и всем остальным, приходилось иногда дежурить ночью. Ее очередь вполне могла совпасть с дежурством Риссена. Да, все возможно, в том числе и самое худшее — может быть, она и до сих пор еще любила его.

В то время я редко задумывался над собственными чувствами. Не заботило меня и то, что думают обо мне другие, ведь это не имело никакого практического значения. Лишь много позже, уже в заключении, я начал, возвращаясь мыслями к прошлому, анализировать свое состояние. Теперь-то я понимаю: когда у меня возникла догадка о близости между Линдой и Риссеном,

я в глубине души хотел не опровержения ее, а подтверждения. Точнее говоря, мне нужна была какая-то причина, которая положила бы конец моему браку.

Но тогда я с негодованием отверг бы подобную мысль, Линда играла слишком большую роль в моей жизни. Она значила для меня не меньше, чем вся моя карьера. Против воли и вопреки здравому смыслу я был отчаянно привязан к ней.

Многие считают любовь устаревшей выдумкой романтиков, но я боюсь, что она все-таки существует и с самого начала в ней заключено нечто неописуемо мучительное. Мужчину тянет к женщине, женщину — к мужчине, но с каждым шагом, который приближает их друг к другу, оба как бы теряют какую-то часть своей души. Человек надеется на победу, а сам терпит поражение. Это чувство появилось у меня еще во время моего первого брака (мы разошлись, потому что у нас не было детей, не имело смысла дальше жить вместе). Но с Линдой это стало просто кошмаром, но тогда я еще не догадывался, что причина кошмара — именно она. У меня возникало иногда такое ощущение, словно я стою среди тьмы, освещенный лучами прожектора, его сверкающий глаз направлен прямо на меня, мне стыдно, и я,

извиваясь как червяк, пытаюсь спрятаться. Лишь много позже я догадался, что виной всему Линда. С ней я чувствовал себя пугающе беззащитным, мне постоянно хотелось забиться куда-то в угол, спрятаться, а она оставалась неизменно загадочной, сильной, да, чуть ли не сверхчеловечески сильной, она бередила и тревожила меня, а эта ее загадочность — о, она давала ей ненавистное преимущество. Когда ее губы вытягивались в узкую красную черту, — нет, это нельзя было назвать улыбкой, радостной или насмешливой, скорее это напоминало натянутый лук, — а глаза становились неподвижными, меня пронизывала дрожь ужаса. И в то же время меня тянуло, неодолимо тянуло к ней, хоть я и сознавал, что никогда она не раскроет мне свой внутренний мир. Должно быть, это и есть любовь, когда в отчаянии безнадежности один человек крепко держится за другого и, несмотря ни на что, ждет чуда.

* * *

Другие пары вокруг нас расходились, как только дети подрастали настолько, чтобы их можно было отдать в Барнлэгер, а потом женились и выходили замуж опять, чтобы родить новых детей. Оссу, нашему старшему, было восемь лет, он уже целый год жил отдельно. Лайле, младшей, недавно исполнилось четыре, значит, пробыть дома ей предстояло еще три года. А что потом? Мы тоже разойдемся, и каждый создаст новую семью, наивно веря, что на этот раз чудо совершится? Весь мой опыт подсказывал, что это не более чем иллюзия. Но где-то оставалась надежда, и она шептала: нет, тебе не повезло с Линдой только потому, что она любит Риссена. Она принадлежит Риссену, а не тебе. Пойми же это наконец, и все станет на свои места, и ты еще сможешь надеяться на новую любовь! Да, вот какие мысли пробудил во мне невинный вопрос Линды.

— Очевидно, Риссен, — сказал я, насторожившись и ожидая, что последует дальше.

— А мне позволено узнать, что это за эксперимент? — спросила горничная.

Разумеется, она имела полное право спрашивать, поскольку находилась здесь в какой-то степени и для того, чтобы следить за всем, что происходит в доме. Но, с другой стороны, не будет ли вреда и мне самому, и в первую очередь Империи, если слухи о моих опытах распространятся преждевременно?

— Речь идет об открытии, которое, как я надеюсь, будет полезно Империи, — сказал я. — Синтезировано новое вещество, и с его помощью можно заставить любого человека рассказать обо всех своих тайнах, о том, что он раньше скрывал из страха или стыда. Вы сами из нашего города?

Дело в том, что, когда в городе не хватало людей, пополнение привозили из других провинций. У приезжих, разумеется, не было того образования, которое получали все живущие в Городах Химиков, и они довольствовались обрывками знаний, подхваченных уже в зрелом возрасте.

— Нет, — сказала она, покраснев, — я из другого места.

(Выяснять, откуда кто прибыл, было строжайше запрещено, потому что такие сведения могли использоваться в целях шпионажа, оттого-то она и покраснела.)

— Тогда я не стану рассказывать о химическом

составе вещества и механизме его действия, — сказал я. — Впрочем, я думаю, в любом случае мне не стоит особенно распространяться, ведь это фактически означало бы разглашение открытия, а на это я не имею права. Но, может быть, вы слышали об алкоголе и о том, что в старину он употреблялся как опьяняющее средство?

— Да, — ответила она, — и знаю, что из этого выходило. Люди становились несчастными, портили здоровье, а в самых тяжелых случаях у них начиналась дрожь во всем теле, им мерещились белые мыши и всякое такое.

Я невольно улыбнулся. Она повторяла слова из элементарного школьного учебника. Конечно, она не получила среднего образования, которое давалось в Городах Химиков.

Я продолжил:

— Совершенно правильно, в запущенных случаях так и было. Но даже при сравнительно слабом опьянении люди нередко выбалтывали то, что не следовало, совершали неразумные поступки, потому что сдерживающие чувства стыда и страха у них на время атрофировались. Вот и мое средство действует примерно так же, как алкоголь, то есть я полагаю, что действует, завершающих опытов еще не проводилось.

Но есть и разница: химический состав совсем другой, его не глотают, а вводят прямо в кровь. Когда действие препарата кончается, человек не испытывает никаких неприятных ощущений, ну, может быть, только небольшую головную боль. И он помнит все, что с ним происходило, не то что пьяные, которые обычно все забывали. Теперь вы видите, какое это важное открытие. Ни один преступник не сможет скрыть свою вину. Мысли, чувства больше не будут принадлежать нам одним, наконец-то будет покончено с этой нелепостью!

— С этой нелепостью? — переспросила она.

— Ну да, разумеется, так как из мыслей и чувств рождаются слова и поступки. Так как же они могут быть личным делом каждого? Разве каждый человек не принадлежит Всемирной Империи целиком и полностью? Кому же, как не Империи, должны принадлежать его мысли и чувства? До сих пор их невозможно было контролировать, но сейчас-то средство найдено.

Она быстро взглянула на меня и отвела глаза. И хоть выражение ее лица не изменилось, щеки явно побледнели. Я решил подбодрить ее:

— Не бойся, мы не собираемся выяснять, кто в кого влюблен или кто кого терпеть не может.

Конечно, если бы мое открытие попало в чужие руки, тогда мог бы начаться страшный хаос. Но этого не случится! Мое изобретение послужит нашей безопасности, всеобщей безопасности, безопасности Всемирной Империи!

— А я и не боюсь, мне бояться нечего, — отозвалась она холодно, уже успев взять себя в руки и не реагируя на мой доброжелательный тон.

Разговор перешел на другие темы. Дети рассказывали, во что они играли на детской площадке. Там у них имелось специальное приспособление — нечто вроде огромного эмалированного ящика площадью четыре квадратных метра и глубиной метр. Там спокойно можно взрывать игрушечные деревья и дома, сделанные из особого, легко воспламеняющегося материала. Не менее увлекательно разыгрывать в миниатюре целые морские сражения, наполнив ящик водой, пушки детских кораблей заряжались тем же взрывчатым веществом, которым начинялись игрушечные бомбы. Среди игрушек имелись даже маленькие торпедные катера. Таким путем у детей развивались стратегические наклонности, и это входило в их плоть и кровь, можно сказать, становилось их второй натурой. Кроме того, подобные игры еще и отличное развлечение. Порой я даже завидовал

собственным детям. В мое-то время не существовало таких великолепных игрушек, специальную взрывчатку для детских бомб, например, изобрели совсем недавно, и я не понимал, почему дети ждут не дождутся дня, когда им исполнится семь лет и они перейдут в Барнлэгер, где упражнения походят уже не на игру, а на настоящую военную службу и где придется жить постоянно.

Мне часто приходило в голову, что нынешнее поколение гораздо трезвее смотрит на жизнь, чем я в их возрасте, и в этот день снова получил подтверждение своим мыслям. Поскольку сегодня был семейный вечер, ни я, ни Линда не пошли на военную службу, и Оссу, наш старший, тоже был дома, я решил немного развлечь детей. У меня с собой был крошечный кусочек натрия, который я специально для такого случая захватил из лаборатории. Я представлял себе, как обрадуются дети, когда увидят плавающий по воде лиловый огонек, — я помнил, как мой отец показывал мне этот фокус. Я налил полный таз воды, потушил свет, и все собрались вокруг моего маленького химического чуда. Но никто не выказал восторга. Ну ладно Оссу — он умел стрелять из детского пистолета и бросать хлопушки, имитировавшие ручные гранаты, я еще мог понять, что бледный

маленький огонек не произвел на него никакого впечатления. Но то, что осталась равнодушной четырехлетняя Лайла, меня удивило. Видимо, вспышка огня, не принесшая гибели хотя бы нескольким врагам, не могла вызвать у нее интереса. И только Марил, наша средняя, сидела словно зачарованная с широко раскрытыми глазами, так напоминавшими глаза матери, смотрела на шипящий, кружащийся по воде огонек. Это одновременно и утешало, и беспокоило меня. Было совершенно ясно, что именно такие дети, как Оссу и Лайла, нужны нашей эпохе. Уже сейчас в них угадывались будущая деловитость и трезвость. А я… во мне все еще жила устаревшая романтика. И хоть в характере и поведении Марил я как бы находил оправдание себе, мне внезапно захотелось, чтобы она была больше похожа на других. У каждого поколения свои черты, обусловленные особенностями времени, и я не желал, чтобы моя дочь оказалась исключением.

Вечер подходил к концу, и Оссу пора было возвращаться в городок. Может, ему хотелось остаться, может, он боялся ехать один, но он ничем этого не выдал. В свои восемь лет мой сын уже был дисциплинированным солдатом. Но зато я сам с внезапной тоской вспомнил то время, ко-

гда они все трое каждый вечер забирались в свои кроватки. «Сын — это сын, — думалось мне, — он отцу всегда ближе, чем дочери». Я боялся даже представить себе тот день, когда Марил и Лайла уйдут от нас и мы будем встречаться с ними лишь два раза в неделю. Но я ничем себя не выдал. К чему показывать дурной пример детям и давать горничной основания отметить в рапорте слабость и мягкотелость главы семейства?

И Линда, главное — Линда! Пусть меня презирает кто угодно, но только не она, сама никогда в жизни не проявившая слабости.

Между тем постели для девочек были уже приготовлены. Горничная составила посуду и остатки еды в кухонный подъемник и тут только вспомнила:

— Да, мой шеф, вам сегодня пришло письмо. Вот оно.

После этого она ушла. Мы с Линдой с удивлением рассматривали конверт — письмо было служебным. Мне пришло в голову, что, будь я на месте полицейского начальства горничной, я сделал бы ей внушение, что по забывчивости или по какой-то другой причине она не вскрыла конверт, хотя имела на это полное право. Но тут же спохватился — а вдруг там написано та-

кое, что мне следовало поблагодарить ее за эту небрежность. Письмо было из Седьмой канцелярии Департамента пропаганды. Но тут, чтобы все объяснить, я должен вернуться к событиям двухмесячной давности.

Итак, это произошло два месяца назад. В зале Унгдомслэгер, украшенном флагами и полотнищами, собрались юноши и девушки. Они разыгрывали разные сценки, произносили речи, маршировали под барабанный бой. Поводом для праздника послужил перевод группы девушек из лагеря в другое место, куда именно, никто не знал. Кто называл Второй Город Химиков, кто — Город Обувщиков, но было ясно, что их мобилизуют туда, где сложилась неблагоприятная ситуация — как в смысле рабочей силы, так и соотношения полов. Раз и навсегда установленные пропорции не должны нарушаться. Потому-то группу молодых женщин и призывали сейчас в другой район, и сегодня в их честь проводили прощальный вечер.

Такие празднества чем-то напоминают проводы солдат. Правда, есть и разница, притом весьма значительная: мы все — и те, кто уезжал, и те, кто оставался, — знали, что девушкам, покидающим родной город, ничего не грозит,

напротив, будет сделано все, чтобы они как можно скорее привыкли к новому окружению. Но отъезжающие понимали, что расстаются с близкими навсегда. Между городами во избежание шпионажа разрешена только официальная связь, и осуществлялась она особо проверенными служащими, находившимися под постоянным контролем. И даже если кому-нибудь из девушек удалось бы попасть в Службу движения — случай почти невероятный, так как будущих работников этой службы чуть ли не с младенчества готовили в специальных городах Транспортников, — даже в этом случае еще нужно было, чтобы ее поставили на один из маршрутов, проходивших через родной город, и чтобы время, когда она там окажется, пришлось как раз на ее свободные часы. Кстати, это касалось только работников наземного транспорта, а персонал, обслуживающий воздушные линии, жил отдельно от семей под постоянным наблюдением властей. Короче говоря, требовалось совершенно исключительное, поистине чудесное стечение обстоятельств, чтобы родители смогли когда-нибудь увидеться со своими детьми, отправляемыми в другую местность. Но тем не менее в этот вечер никто не имел права с мрачным видом стоять у стены.

На празднике, как и подобает, должно царить радостное настроение.

* * *

Наверняка все сложилось бы иначе, если бы я тоже был непосредственным участником торжества. В зале было весело и шумно. Предвкушение хорошего ужина — на таких празднествах угощение, как правило, бывает вкусным и обильным, и собравшиеся набрасываются на еду как голодные волки, — звуки барабана, общий шум и веселая толкотня создавали то приподнятое настроение, которому и надлежит господствовать на подобных вечерах.

Но я оказался здесь не потому, что имел какое-то отношение к виновникам торжества, а по долгу службы (я имею в виду военно-полицейскую службу, которая занимала у меня четыре вечера в неделю) и исполнял роль полицейского секретаря. Сидя на небольшом помосте в углу зала, я вел протокол, записывая ход торжества. Этим занимался не я один, нас в зале было четверо — по одному в каждом углу.

Итак, я сидел отдельно ото всех и разглядывал толпу. Общий подъем в какой-то степени захватил и меня, я не мог веселиться вместе с другими,

но меня утешало сознание важности моей миссии. Впрочем, к концу вечера нас сменят, чтобы мы могли отдохнуть и отдать должное праздничному столу.

Девушек — виновниц торжества было около пятидесяти. Они сразу бросались в глаза благодаря позолоченным венкам на головах (такие венки по обычаю предоставлял город). Мое внимание привлекла одна из девушек: очень красивая, а главное — в ее взгляде, движениях, во всем поведении, как скрытый огонь, чувствовалась необыкновенная живость. Еще в начале вечера, когда на сцене разыгрывались скетчи и юноши сидели отдельно от девушек, я заметил, что она пытливо поглядывает в их сторону. Но вот она нашла того, кто был ей нужен, и сжигавший ее внутренний огонь словно бы утих, превратившись в ровное, спокойное пламя. Я начал разглядывать юношей и сразу понял, кого она искала. Среди веселых, полных радостного ожидания людей только его лицо поражало своей чуть ли не болезненной серьезностью. Как только окончилась последняя пьеса и все вскочили с мест, эти двое двинулись сквозь густую толпу навстречу друг другу и остановились в центре зала. Молодежь разговаривала и пела, они одни

стояли молча, никого не замечая, забыв о том, где находятся. Я стряхнул с себя оцепенение. Ну куда это годится! Я едва не стал сочувствовать им!

Наверное, я слишком устал в тот день, иначе так не забылся бы. Разумеется, жалеть этих двоих не стоило. Что может быть полезнее для формирования верноподданного, чем выработанная смолоду привычка приносить жертвы ради великой цели? Многие всю жизнь жаждут принести жертву, которая была бы достаточно велика, и не могут. Единственное, что я мог испытывать в тот момент, — зависть, и я уверен, что недовольство, которое явно проявляли все окружающие, было вызвано той же завистью. Завистью и еще, быть может, презрением, ибо молодежь, конечно, считала, что отдельный человек, кем бы он ни был, не стоит такой затраты душевных сил. Но я презрения не испытывал, потому что юноша и девушка казались мне участниками вечной драмы, прекрасной в своей трагической обреченности.

Да, я действительно устал, потому что меня притягивали не веселые, а грустные лица. После того как толпа разделила молодую пару, я обратил внимание на худощавую немолодую женщину, видимо, мать одной из мобилизованных. Она находилась как бы вне происходящего.

Не знаю, почему это пришло мне в голову, я ничем не смог бы это доказать, потому что она делала все то же, что другие: двигалась в такт с марширующими, кивала ораторам, пела. Но, по-моему, она совершала это чисто механически и оставалась одинокой — точно так же, как те двое. По-моему, ее поведение не осталось незамеченным. Со своего помоста я видел, как к ней то и дело подходил кто-нибудь, брал за руку и тянул за собой или просто заговаривал. И, хоть она отвечала и даже улыбалась, я видел, что люди отходили разочарованные. Только один невысокий полный мужчина с живым лицом не отступился так легко. После того как в ответ на какую-то его реплику она выдавила мученическую улыбку и снова приняла озабоченный вид, он отошел, но недалеко, и я понял, что он наблюдает за ней.

Эта одинокая усталая женщина вдруг стала мне чем-то близка. Умом я понимал, что она более достойна зависти, чем те двое молодых людей, ведь она приносила большую жертву и заслуживала еще большей похвалы. Чувства молодых поблекнут, у каждого появится новая привязанность. Рана затянется, и память о прежней любви скрасит однообразие будней, но боль матери не утихнет с годами. Я понимал, какова тяжесть ее

потери, и мне когда-нибудь придется пережить то же самое. Думая об Оссу, старшем сыне, который пока еще приходил домой два раза в неделю, я надеялся, что сумею удержать его в Четвертом Городе Химиков, даже когда он станет взрослым. Разумеется, я сознавал, что нельзя распоряжаться судьбой маленьких подданных Империи, исходя лишь из интересов родителей, и никогда не высказал бы своего желания вслух, но тайная надежда сохранить Оссу была подобна мерцающему вдалеке огоньку для ночного путника. Может быть, я особенно берег эту мечту еще и потому, что ее приходилось так тщательно скрывать. И вот в этой женщине я угадал ту же боль и ту же молчаливую сдержанность. Я невольно поставил себя на ее место: она не только больше никогда не увидит свою дочь, но вряд ли сумеет на протяжении всей жизни получить от нее хоть какое-нибудь известие. Почтовая цензура все строже обходилась с частными письмами, и, как правило, адресату доставлялись только действительно важные, короткие и деловые сообщения, снабженные надлежащими подтверждениями. Странная и дерзкая мысль пришла мне в голову: я подумал, что люди, пожертвовавшие своими чувствами ради Империи, нуждаются в своего

рода компенсации. Она должна состоять в том, к чему стремятся даже самые богатые и высокопоставленные лица: в славе и почитании. Если слава служит достаточным утешением для искалеченного на поле боя воина, почему бы ей не быть таким же утешением и для человека, потерпевшего моральный ущерб? Весьма путаная романтическая мысль — и, как и следовало ожидать, немного погодя она привела меня к опрометчивому поступку.

После того как меня сменил другой полицейский секретарь, я смешался с толпой и попытался принять участие в общем веселье. Но, вероятно, из-за усталости и голода ничего у меня не выходило. Вскоре из кухни вкатили передвижные столы, накрытые для ужина, и все со складными стульями собрались вокруг них. И что удивительно, женщина, на которую я раньше обратил внимание, оказалась как раз напротив меня. Возможно, это чистая случайность, а возможно, она тоже заметила меня и даже сумела прочитать на моем лице симпатию. Но то, что невысокий подвижный толстяк, подходивший к ней до ужина, сейчас поспешил усесться рядом, это уж явно преднамеренно. Судя по всему, он хотел заставить ее выдать нечто, тщательно скрываемое.

Его слова звучали вроде бы вполне невинно, но я представлял, как они бередят рану матери! Он с сожалением говорил об одиночестве, которое ожидает девушек. Всех вновь прибывших, по его словам, расселят в разных местах, далеко друг от друга. Само собой, трудно привыкать к новому климату, да и к новому образу жизни тоже. Что касается Городов Обувщиков (не знаю, почему речь зашла именно о них, ведь цель поездки всегда держалась в глубокой тайне, и любая догадка на этот счет с равной степенью вероятности могла оказаться и правдивой, и ложной). Что касается Городов Обувщиков, то часть из них лежит на той же широте, что и Четвертый Город Химиков, но большинство расположено далеко на севере, где суровый климат, холодные зимы и долгие полярные ночи, которые на кого угодно наведут тоску. А впрочем, не стоит так уж безоговорочно верить слухам — те, кто их распространяет, сами скорее всего ни разу не выезжали за пределы города.

Сначала у меня создалось впечатление, что он попросту за что-то мстит женщине. Но из ее вежливых малозначащих ответов я понял, что они только что познакомились, и, следовательно, у него не могло быть никаких причин для личной неприязни. Значит, он просто хотел разоблачить

носительницу индивидуалистических настроений, хотел, чтобы резким словом или внезапным взрывом слез она наконец-то выдала себя. Тогда, указав на нее и воскликнув: «Смотрите, кого мы вынуждены терпеть в своих рядах!» — он пригвоздил бы ее к позорному столбу. Такое стремление, в сущности, не только вполне объяснимо, но и достойно всяческого уважения, и потому их разговор приобретал иной, принципиально новый смысл. Я слушал внимательно, и, надо сказать, симпатии окружающих явно склонялись на сторону женщины. Мне кажется, дело тут было не в сострадании. Всех привлекало то достоинство, то самообладание, с которым она парировала самые хитрые выпады собеседника. Ни на секунду ее лицо не покинула вежливая улыбка, ни разу в голосе не прорвалась дрожь. И как быстро она находила ответ на любой из его доводов! Она говорила, что молодежь легко воспринимает все новое, климат севера полезнее для здоровья, чем южный, что в Мировой Империи никто не может чувствовать себя одиноким и нечего жалеть о том, что ее дочь забудет родных, — если человеку приходится переезжать на новое место, это как раз очень хорошо.

Я был очень недоволен, когда в их спор вмешал-

ся сидевший неподалеку рыжеволосый мужчина с грубым лицом:

— Это что еще за слюнтяй выискался! Эй вы, как вас там, кто вам позволил порочить имперские мероприятия, да еще перед матерью! Кончайте нытье, не мешайте другим веселиться!

Как раз в этот момент подошло время для очередной речи, и у меня возникла идея — злосчастная идея! — нанести удар противнику моей соседки. (Дело в том, что на вечер я пришел не только в качестве полицейского секретаря, но и в качестве официального оратора.) Речь моя была заранее подготовлена, но концовку я придумал на месте. Увы, если бы я только мог догадываться о роковых последствиях этого шага!

— Итак, соратники, героизм не становится меньше оттого, что он сопровождается страданиями. Страдает воин от ран, страдает вдова убитого воина, хотя радость служения Империи неизмеримо превышает боль скорби. Душевную тяжесть испытывают и те, кто, вступая в самостоятельную жизнь, расстается с близкими, в большинстве случаев навсегда. Мы можем только восхищаться, когда мать с дочерью или товарищ с товарищем прощаются легко и радостно, с блеском в глазах и криками ликования на устах. И наше

восхищение не уменьшится оттого, что за этой радостью мы почувствуем глубоко спрятанную, мужественно преодолеваемую скорбь. И, может быть, именно эта выдержка, это самообладание и борьба с самим собой особенно достойны нашего преклонения, ибо тут-то и таится самая большая жертва, которую мы приносим Империи.

Наэлектризованная, возбужденная толпа встретила мои слова громом аплодисментов и приветственных возгласов. Но я видел, что среди аплодирующих то там, то здесь попадались сидевшие неподвижно. Пусть тысяча хлопает, а двое — нет: эти двое важнее, потому что они могут донести, в то время как ни один из тысячи и пальцем не шевельнет, чтобы защитить того, кем только что восторгался, а впрочем, ведь это невозможно. Я был взволнован, но постоянно чувствовал на себе пронзительный взгляд толстяка. Как бы невзначай я повернулся в его сторону — разумеется, он не аплодировал.

Да, так все и было. И вот результат — я держу в руке письмо. Кто донес на меня, сомневаться не приходилось. Я прочитал текст на бланке:

«Соратнику Лео Каллю,
Четвертый Город Химиков.

Ознакомившись с вашей речью, произнесенной 19 апреля с. г. в Унгомслэгере на вечере в честь вновь мобилизованных на работу, Седьмая канцелярия Департамента пропаганды считает нужным сообщить вам следующее.

Ввиду того, что борец, обладающий цельной натурой, действует эффективнее, чем страдающий раздвоенностью, необходимо отметить, что бодрый духом солдат, ни перед самим собой, ни перед окружающими не выказывающий сознания приносимой жертвы, представляет значительно большую ценность, нежели угнетенный и обремененный тяжестью так называемой жертвы, даже если он и скрывает свое состояние духа. Следовательно, уважения достойны лишь истинно бодрые солдаты, которым нечего скрывать; не имеется никаких оснований поощрять тех, кто под маской радости пытается скрыть раздвоенность, недовольство и излишнюю чувствительность; разоблачение последних есть долг каждого преданного Империи солдата. Мы ждем, что в скором времени вы выступите с признанием своей ошибки перед той же аудиторией – на собрании или по местному радио.

Седьмая канцелярия Департамента пропаганды».

Я отреагировал так бурно, что мне самому потом было стыдно перед Линдой. Но ведь надо же, письмо пришло именно сегодня, в день моего торжества! Моим надеждам и ожиданиям нанесен внезапный и резкий удар! Чего только я не наговорил в тот момент: и что я конченый человек и карьера моя погибла, и что в будущем меня ждет одно бесчестье, и что мое открытие — ничто по сравнению с этой историей, которая, конечно, будет отмечена в тайных картотеках всех полицейских отделений Мировой Империи, и так далее. И когда Линда принялась утешать меня, я сначала не поверил ей. Решил, что она притворяется, а сама тем временем думает, как бы лучше избавиться от меня.

— Скоро все узнают, что я имею обыкновение произносить антиимперские речи, — сказал я с горечью. — Если хочешь разойтись, пожалуйста; неважно, что дети еще маленькие. Лучше уж совсем никакого отца, чем государственный преступник…

— Ты преувеличиваешь, — ответила Линда. (Как ни странно, я до сих пор помню, какое слово она тогда употребила. И не материнское ласковое спокойствие звучало в ее голосе — ему бы я не поверил, — а тяжелая, равнодушная усталость

— именно это и убедило меня в ее искренности.) — Да, ты преувеличиваешь. Ты думаешь, среди наших соратников мало выдающихся людей получали замечания или взыскания, а потом сами же восстанавливали свое доброе имя? А ну-ка вспомни, сколько людей выступает по радио каждую пятницу с восьми до девяти вечера с покаяниями. Пойми, что хороший соратник не тот, кто не ошибается, а тот, кто, допустив ошибку, способен отказаться от собственной ложной точки зрения во имя истинной.

Мало-помалу я несколько пришел в себя и понял, что она права. Впрочем, я был все еще порядком возбужден и решительно обещал Линде (да и самому себе), что как можно скорее постараюсь выступить по радио в программе «Час покаяния». Я даже начал набрасывать текст будущей речи.

— И опять ты преувеличиваешь, спешишь, — сказала Линда. Она стояла рядом и смотрела, что я пишу. — Нельзя бросаться из одной крайности в другую — заподозрят, что в минуту слабости ты можешь вернуться к прежним заблуждениям. Поверь мне, Лео, такие вещи нужно писать в спокойном состоянии.

Линда права! Я почувствовал благодарность

к ней за то, что она рядом, такая мудрая и такая сильная. Но почему она выглядит бесконечно усталой?

— Ты не заболела, Линда? — спросил я со страхом.

— С чего мне болеть? На прошлой неделе у нас прошел врачебный осмотр. Мне прописали небольшие дозы свежего воздуха, а так все в порядке.

Я встал и обнял ее:

— Только не умирай раньше меня. Ты нужна мне. Ты должна быть со мной.

Но вместе с боязнью очутиться в одиночестве где-то в моей душе мелькнул проблеск надежды: а вдруг она и правда умерла бы? Это решило бы все проблемы. Но в таких мыслях я не хотел себе признаваться и в каком-то бессильном гневе крепко прижал ее к себе.

Мы легли и потушили свет. Моя месячная порция снотворного уже давно кончилась.

Даже если бы я не чувствовал ее нежного тепла и аромата, напоминающего о листьях чая, в тот вечер пожелал бы ее, захотел бы большей близости, чем та, что могут дать краткие прикосновения. Годы преобразили меня. В юности чувства играли в моей жизни совсем не такую

роль, как теперь: тогда я ощущал их не как неотъемлемую часть собственной натуры, а как некое приложение, что-то вроде надоедливого спутника, которого надо поскорее ублаготворить, чтобы он оставил тебя в покое и не мешал заниматься более важными делами. Иное дело сейчас. Мне мало ощущать ее аромат и нежность тела, я жаждал того, чего добиться было почти невозможно: той Линды, что вдруг проглядывала сквозь обычную маску, чей облик прятался в глубине широко открытых неподвижных глаз, в изгибах напряженно сжатого рта, прорывался в звуках усталого голоса, в спокойных мудрых словах. Я почувствовал, как кровь стучит в висках, и, повернувшись на бок, подавил глубокий вздох. И снова повторил себе, что никогда близость между мужчиной и женщиной не принесет того, что мне нужно. Все это предрассудки — вроде тех, что были свойственны первобытному дикарю, который считал, что, съев сердце мужественного соперника, он сам станет мужественным. Никакой магический ритуал не даст мне доступа к тому блаженству, в котором отказывала мне Линда. А зачем тогда все остальное!

На стене висело «ухо полиции», рядом — «глаз полиции», в темноте он действовал так же безот-

казно, как при свете. Никто не посмел бы сказать, что эти аппараты не нужны: если не они, сколько тайных встреч могло произойти, сколько шпионских сведений передавалось бы, так как спальни взрослых одновременно служили гостиными. Немного погодя, когда я ближе познакомился с семейной жизнью многих наших соратников, я вынужден был признать, что «ухо полиции» и «глаз полиции» неблагоприятно влияют на рождаемость в Мировой Империи. Но едва ли сейчас я охладел из-за них. По крайней мере, раньше они мне не мешали. Наша Тысячелетняя Империя никогда не смотрела на вопросы пола аскетически, напротив, производить на свет новых подданных считалось делом не только необходимым, но и почетным, и Империя делала все, чтобы мужчины и женщины, вступив в зрелый возраст, могли выполнить свой долг. Я никогда не имел ничего против того, чтобы в высших сферах время от времени отмечали мои мужские достоинства. Это меня даже стимулировало. Но с годами все изменилось. Если раньше даже в моменты интимной близости я зачастую обращался к аппарату на стене с безмолвным вопросом, как относится ко мне воплощенная в нем Высшая Власть, то с течением времени мысль об

этой власти стала казаться помехой, и больше всего в те минуты, когда я особенно жаждал Линды и того недостижимого чуда, которое сделало бы меня господином над ее внутренним миром. Теперь я мысленно спрашивал не аппарат, а саму Линду. Моя любовь приобретала недопустимый, чересчур углубленный и личный характер, и это начало беспокоить меня. Цель брака — дети, а все прочее — предрассудки. Да, пожалуй, эти опасные странности — еще один аргумент в пользу развода. Интересно, многие ли пары расходятся по той же причине?..

С тем я и попытался заснуть, но не смог. В моей памяти вновь всплыло письмо из Седьмой канцелярии Департамента пропаганды, слова завертелись и запрыгали перед глазами. Сон окончательно пропал, и я буквально не находил себе места. «Борец, обладающий цельной натурой, действует эффективнее, чем страдающий раздвоенностью», — это, разумеется, логично и правильно. Но как быть с теми, кто все-таки страдает раздвоенностью? Как заставить их перемениться, стать цельными?

Но тут я спохватился: а почему я так беспокоюсь об этих людях, словно один из них? Нет-нет, так нельзя. Ни за что не допущу собственной

раздвоенности! Как солдат я безупречен, в моей душе нет и не будет места ни обману, ни предательству. А бесполезные… прочь их совсем, всех, и ту женщину тоже… «Долой тех, в ком нет цельности!» — вот мой лозунг отныне. «А твой собственный брак?» — спросил чей-то злорадный голос. Но я тут же нашел ответ. Если все останется по-прежнему, я разведусь. Да, разведусь, и все тут. Но, конечно, не раньше, чем подрастут дети.

И на душе у меня вдруг стало легко и ясно, поскольку мое открытие отвечало требованиям Седьмой канцелярии! И разве сегодня я не говорил с горничной в том же духе? Благодаря моему открытию мне поверят, меня простят, так как я на деле доказал свою благонадежность. В конце концов, что значат несколько необдуманных слов? Я всегда был хорошим солдатом, а в дальнейшем, возможно, стану еще лучше.

Перед тем как сон окончательно сморил меня, мне почему-то представилась смешная картина, одна из тех, что часто всплывают в сознании засыпающего человека: невысокий подвижный толстяк, которого я видел на празднике, стоит и обливается холодным потом, сжимая в руке письмо-предупреждение. Тот рыжий детина обвинил его в попытке сорвать праздник и опорочить

мероприятия Империи, а это куда хуже…

* * *

У меня нет привычки мешкать по утрам, но в то утро я особенно торопился покончить с гимнастикой и душем и натянуть рабочий комбинезон, чтобы в полной готовности встретить инспектора.

И вот он пришел. Конечно, это был Риссен. Если я и испытал в тот момент разочарование, на моем лице оно не отразилось. Не стоило и надеяться, что мне дадут кого-то другого. И когда он появился передо мной, сутулый, как всегда, с обычным нерешительным видом, я вдруг ясно и отчетливо понял, что он так неприятен мне вовсе не потому, что между ним и Линдой, возможно, существуют какие-то отношения, нет, сама мысль об этом бесила меня именно из-за того, что в роли моего соперника оказался Риссен. Пусть кто угодно, только не он! Конечно, он не станет чинить мне препятствий, он для этого слишком кроток. Но я, честно говоря, предпочел бы более решительного, пусть даже недружелюбно настроенного инспектора, с которым мог на равных помериться силами, конечно, при том

условии, что он будет пользоваться моим полным уважением. Но к Риссену я не питал никакого почтения. Он слишком не похож на других, слишком смешон. Мне трудно определить, в чем именно состояло это смешное. Пожалуй, прежде всего в его манере говорить, в самом темпе речи. Свойственные любому из взрослых соратников четкость и определенность выражений, умение связно и размеренно излагать свои мысли чужды Риссену. В разговоре он порой так спешил, что слова буквально наскакивали друг на друга, а он еще к тому же сопровождал их бессмысленными комическими жестами, делал совсем ненужные по ходу беседы длинные паузы, внезапно погружался в собственные мысли или бросал странные реплики, понятные только посвященным. А когда он слушал что-нибудь особенно интересное, его лицо подергивалось, как будто это не человек, а животное, которое не может владеть своими эмоциями. И все это в моем присутствии, присутствии подчиненного. Я, конечно, с одной стороны, сознавал, сколь велики его научные заслуги, но, с другой — хоть дело касалось моего шефа, не мог закрывать глаза на явное несоответствие между его достоинствами как ученого и его обликом подданного Империи.

— Итак, — сказал Риссен неторопливо, словно наше рабочее время принадлежало лично ему, — я получил весьма подробный отчет. Думаю, что мне все ясно.

И он начал повторять важнейшие положения моего отчета.

— Мой шеф, — нетерпеливо вмешался я, — уже заказано пять человек из Службы жертв-добровольцев. Они ждут в вестибюле.

Он хмуро посмотрел в мою сторону. Такое впечатление, что он меня вообще не видит. Да, действительно странный человек.

— Ну что ж, позовите кого-нибудь, — сказал он секунду спустя.

Это звучало так, словно он не отдал приказ, а просто подумал вслух.

Я нажал на кнопку звонка. Дверь тут же отворилась, и на пороге появился мужчина с рукой на перевязи. Он поздоровался и назвал себя: № 135 из Службы жертв-добровольцев. Несколько раздраженный, я спросил, нельзя ли было прислать вполне здорового человека. Дело в том, что, когда я работал ассистентом в одной из медицинских лабораторий, к моему руководителю в качестве испытуемой однажды попала женщина, у которой в результате предыдущего эксперимента

совершенно расстроились функции всех желез, и это сильно исказило картину исследования. Я, естественно, не хотел, чтобы и у меня произошло нечто подобное. К тому же в инструкциях указывалось, что каждый ученый не только имеет право, но и обязан настаивать на том, чтобы ему предоставляли только здоровых испытуемых. Привычка посылать в разные лаборатории одних и тех же лиц порождала систему фаворитов, в то время как многие способные и деятельные люди лишались возможности, во-первых, проявить себя, а во-вторых, получить небольшой гонорар. Правда, принадлежность к Службе жертв-добровольцев считалась чрезвычайно почетной, и это уже само по себе могло рассматриваться как своего рода вознаграждение. Однако твердая заработная плата была у них весьма низкой, так как при расчетах принимались во внимание многочисленные виды компенсаций за разные телесные повреждения, неизбежные у людей этой профессии.

№ 135 вытянулся по стойке «смирно» и от имени своего отдела принес извинения. Им действительно больше некого послать. В военной лаборатории по исследованию газов ведутся большие работы, и весь состав отдела брошен туда. По

словам № 135, он чувствует себя великолепно, если не считать полученной в газовой лаборатории травмы левой руки. Но так как по всем правилам ране полагалось давно зажить (даже нанесший ее химик не мог сказать, почему она до сих пор не затянулась), испытуемый считал, что он вполне здоров и пригоден для моего эксперимента. По существу, он был прав, и я успокоился.

— Нам нужны не ваши руки, а ваша нервная система, — объяснил я. — Заранее могу обещать, что вам не будет больно и не останется никаких последствий, даже временных.

№ 135 вытянулся еще больше. Его голос прозвучал торжественно, как гром фанфар:

— Сожалею, что Империя не требует от меня большей жертвы. Я готов ко всему.

— Мы в этом не сомневаемся, — серьезно ответил я.

Он, безусловно, говорил искренне. Мне только не понравился его чересчур уж торжественный тон. Не он один способен к подвигам, ученый в лаборатории подчас проявляет не меньшее мужество, хотя об этом порой никто не знает. Впрочем, как раз возможность проявить себя представится, видимо, весьма скоро: то, что испытуемый сказал о лихорадочной работе в газовой лаборатории,

подтверждало мои догадки о приближении войны. Я, кстати, давно уже заметил (только не хотел говорить другим, чтобы меня не сочли нытиком и пессимистом), что пища, которой нас кормят, день ото дня становится хуже.

Я усадил испытуемого в удобное кресло, специально выделенное мне для эксперимента, согнул ему руку, протер кожу дезинфицирующим раствором и взял небольшой шприц, наполненный светло-зеленой жидкостью. Как только № 135 ощутил прикосновение иглы, его лицо сразу изменилось — в своей напряженной суровости оно стало почти прекрасным. И я подумал, что передо мной сидит подлинный герой. Но буквально через секунду он резко побледнел, что никак нельзя приписать действию моего препарата — оно не могло проявиться так скоро.

— Ну как? — спросил я дружелюбно. Инструкции предписывали задавать испытуемым как можно больше вопросов. Это давало им ощущение своего равенства с учеными и в какой-то степени помогало переносить боль.

— Спасибо, нормально, — ответил № 135. Но говорил он очень медленно — его губы дрожали и не слушались.

Мы начали читать его медицинскую карту.

Здесь было все, что полагается: год рождения, пол, расовые признаки, особенности телосложения, темперамент, группа крови, наследственность, перенесенные болезни (как у всех людей этой профессии, их оказалось немало) и так далее. Все необходимое я занес в свою картотеку. Единственное, что меня несколько смутило, — его год рождения. Но я вспомнил, как, еще работая ассистентом, слышал, да и сам не раз замечал, что сотрудники Службы жертв-добровольцев выглядят, как правило, лет на десять старше, чем в действительности. Записав необходимое, я вновь повернулся к испытуемому, который уже начал ерзать в кресле:

— Ну и как теперь?

Он радостно засмеялся:

— Знаете, до того хорошо! Просто никогда мне так хорошо не было. А уж как я боялся…

Подействовало! Мы приготовились внимательно слушать. Но сердце у меня колотилось. А вдруг он ничего не скажет? Может быть, ему просто нечего скрывать. Или он заранее решил говорить только о пустяках. Как я смогу тогда убедить Риссена и, главное, себя самого? Теория остается теорией, пока она не проверена на практике. А что, если я вообще ошибся?

И тут вдруг случилось нечто совершенно неожиданное. Испытуемый, этот высокий, крупный мужчина, начал жалко всхлипывать. Он сполз вниз и, безвольно повиснув на подлокотниках кресла, стал с протяжным стоном раскачиваться взад и вперед. От стыда за него я буквально не знал, куда деваться. Но Риссен, нужно признать, вел себя великолепно. Не сомневаюсь, что он тоже испытывал неловкость, но ничем этого не выдал.

Так прошло несколько минут. Меня по-прежнему душил стыд, словно это я был виновником позорной сцены. Но откуда мне знать, что там за душой у этих жертв-добровольцев! Хотя фактически испытуемые занимали по отношению к нам подчиненное положение, ни я, ни кто-либо другой из нашей лаборатории не мог считаться их начальством — у них был свой центр, откуда их направляли в разные учреждения.

Мало-помалу № 135 успокоился. Всхлипывания прекратились, он выпрямился в кресле и принял несколько более достойный вид. Чтобы поскорее загладить впечатление от неприятной сцены, я задал ему первый пришедший в голову вопрос:

— Как вы себя чувствуете?

Испытуемый поднял глаза. В дальнейшем мне

казалось, что он сознавал наше присутствие и слышал все вопросы, но едва ли представлял себе, кто мы, собственно, такие. Говорил он, адресуясь непосредственно к нам, но так, словно перед ним не конкретные люди (к тому же фактически его начальство), а некие воображаемые безымянные слушатели.

— Я такой несчастный, — сказал он вяло, — просто не знаю, что мне делать. Не представляю, как я это вынесу.

— Что вынесете? — спросил я.

— Да все. Я так боюсь. Всегда боюсь. Не то чтобы именно сию минуту, вообще боюсь, постоянно.

— Боитесь эксперимента?

— Ну да, эксперимента. Хотя вот как раз сейчас я не понимаю, почему так боюсь. Ну больно или не очень, ну сделаюсь калекой или поправлюсь, ну умру или останусь жить — чего тут бояться? А я всегда боюсь. Смешно же, правда, почему человек так боится?

От его прежней вялости не осталось и следа. Он заговорил с какой-то пьяной бесшабашностью:

— И еще я боюсь того, что они скажут. Они скажут: ты трус — и это хуже всего. А я не трус. Не хочу быть трусом. Но что же делать, если я и правда трус? А если я потеряю место? Ну и ладно,

найду что-нибудь другое. Всегда можно где-нибудь устроиться. Нет, они меня не выгонят. Я сам уйду. Уйду добровольно из Службы жертв-добровольцев. Добровольно пришел, добровольно уйду.

Он снова помрачнел. На лице появилось выражение горечи.

— Я ненавижу их, — продолжал он сквозь зубы. — Ходят себе в свои лаборатории, сами чистенькие, целехонькие… Еще бы, им нечего бояться всяких ран и боли, разных предусмотренных и непредусмотренных последствий. А вечером идут домой к жене и детям. А разве такой, как я, может иметь семью? Я тоже хотел жениться, но из этого ничего не вышло, сами понимаете. Когда у человека такая жизнь, ему не до женитьбы. И ни одна женщина не станет терпеть такого мужа. Я ненавижу женщин. Они только лгут. Завлекут, а потом бросят. Всех их ненавижу. Ну, кроме тех, конечно, которые работают у нас, но ведь это не настоящие женщины. Их и ненавидеть не за что. А у нас все не так, как у других. Нас тоже называют соратниками, а какая у нас жизнь? Мы все должны жить в Приюте, мы как отбросы какие-то…

Его голос упал до невнятного шепота, но он все

повторял: «Ненавижу…»

— Мой шеф, — спросил я, — ввести еще дозу?

Я надеялся, что Риссен скажет «нет», потому что испытуемый вызывал у меня глубокую антипатию. Но Риссен кивнул, и мне пришлось повиноваться. Делая укол, я довольно язвительно сказал:

— Вы правильно заметили, что ваша организация построена на добровольных началах. Чем же вы тогда недовольны? Просто противно слушать, как взрослый человек стонет и жалуется сам на себя. Вы ведь пошли туда сами, без принуждения, не так ли?

Думаю, я бессознательно адресовал эти слова не столько испытуемому, который в своем состоянии едва ли был способен на них реагировать, сколько Риссену, пусть знает, с кем имеет дело.

— Ну, конечно, я пошел сам, — смущенно пробормотал № 135, — конечно, сам, но ведь я не знал, что это такое. То есть я понимал, что мне придется страдать и терпеть, но думал, что это происходит как-то иначе, возвышеннее, что ли, а если умереть, так сразу, с радостью и блаженством. А не так, как сейчас, изо дня в день… Думаю, умереть — это прекрасно… Человек бьется… хрипит… Я видел, как умирал один у нас в

Приюте, он бился и хрипел. Это ужасно. Но не только ужасно. Знаю, ничего нельзя изменить. Но я потом все время думал: как это хорошо — взять и умереть! И никто не может помешать, раз человек умирает… Никто… Смерть — это такое дело, которому нельзя помешать.

Я стоял и вертел в руках шприц.

— Мне кажется, он не совсем нормален, — тихо сказал я Риссену, — у здорового солдата не может быть такой реакции.

Риссен ничего не ответил.

— Значит, вы имеете дерзость перекладывать ответственность на других… — начал было я обличительным тоном, но, поймав взгляд Риссена, осекся. В его глазах мне почудилась холодная насмешка. Неужели он считал, что я веду эти разговоры только для того, чтобы показать себя с лучшей стороны перед ним, Риссеном? Я даже покраснел. Но нужно было досказать фразу до конца, и я произнес уже куда более сдержанно: — …из-за того, что вы выбрали профессию, которая, по вашим словам, вам не подходит?

№ 135, по-моему, не обратил внимания на мой тон, он услышал только сам вопрос.

— На других? — переспросил он. — Но если я не хочу… Хотя нет, тогда я хотел. Такое уж тогда

было поветрие — я сам потом часто думал, как же это произошло. Всюду только и слышно было: Служба жертв-добровольцев. Доклады, фильмы, разговоры — все только о Службе жертв-добровольцев. Я тогда думал: да, это великое дело. И мы с товарищами пошли и записались. Вы посмотрели бы на них! Как будто не люди из плоти и крови, а святые. Вы понимаете, лица — как огонь… В первые годы я думал: мы пережили нечто такое, чего никому из обычных смертных не дано пережить, и вот теперь платим за это, но мы в силах, мы можем платить после того, как видели такое… Но теперь мы уже больше не в состоянии. Я не в состоянии… И это воспоминание уходит от меня все дальше и дальше, не могу его удержать. Раньше оно еще иногда возвращалось, само по себе, когда я о нем не думал, но теперь каждый раз, как я пытаюсь его вызвать, — а я должен его вызывать, иначе зачем вся моя жизнь! — так вот, когда я пытаюсь его вызвать, оно не приходит, оно прячется все дальше и дальше. Наверное, я сам погубил его тем, что вызывал слишком часто. Иногда я не сплю, лежу и думаю: а что, если бы у меня была обычная жизнь и я снова пережил бы это великое мгновение, или что-то другое прекрасное сопровождало бы меня всю жизнь, чтобы

она снова обрела смысл, — словом, чтобы этот миг не остался где-то там, в прошлом? Вы поймите: человек не может весь остаток своих дней жить одним давно прошедшим мгновением. Ни один человек этого не вынесет. Но ведь все равно стыдно. Стыдно предать единственный стоящий миг жизни. Предать. Почему человек становится предателем? Я только хочу жить обыкновенной жизнью, чтобы в ней был какой-то смысл. Я слишком долго молчал, больше не могу. Завтра пойду и откажусь.

Державшее его напряжение как будто спало. Он заговорил снова:

— Как вы думаете, может быть, такое мгновение придет еще раз, перед смертью? Я бы хотел умереть. А как же иначе, когда от жизни уже ждать нечего. Когда человек говорит: «Я больше не могу», — это значит: «Не могу больше жить». Это не значит «не могу умереть», потому что умереть человек может, человек всегда в силах умереть, поскольку тогда он получает то, что хочет.

Откинувшись на спинку кресла, он замолчал. По лицу его разлилась зеленоватая бледность. Тело начало слегка дрожать, руки беспокойно задвигались по подлокотникам. Его, видно, мутило,

но что поделаешь, он получил двойную дозу. Я налил в стакан с водой успокоительных капель и протянул ему.

— Он сейчас придет в себя, — сказал я Риссену. — Когда действие препарата заканчивается, могут возникать некоторые неприятные ощущения, но они должны быстро пройти. В каком-то смысле самое неприятное у него еще впереди, когда он снова почувствует страх, да и стыд тоже. Посмотрите, мой шеф, по-моему, за ним стоит понаблюдать.

Но Риссен и так смотрел на человека в кресле, однако лицо у него было такое, словно это ему, а не испытуемому стало стыдно. Сидящий перед нами человек являл собой весьма жалкое зрелище. На висках у него набухли жилы, а губы дрожали от ужаса — куда более сильного, чем тот, что он испытывал в начале эксперимента. Он крепко зажмурил веки, словно надеясь, что недавнее происшествие, ясно запечатлевшееся в его памяти, окажется просто дурным сном.

— Он все помнит? — тихо спросил Риссен.

— Боюсь, что да. Я сам еще не знаю, хорошо это или плохо.

С крайней неохотой испытуемый наконец приоткрыл глаза — ровно настолько, чтобы видеть,

куда ступить. Так и не подняв головы, он встал и отошел в сторону, не смея взглянуть на нас.

— Благодарю вас, — сказал я, садясь за стол. (На это полагалось ответить: «Я лишь исполнил свой долг», — но даже самый строгий формалист не стал бы требовать от испытуемого, только что прошедшего эксперимент, полного соблюдения этикета.) — Сейчас вы получите счет. Я выпишу вам по параграфу восьмому — неприятные ощущения умеренного характера, не сопровождающиеся телесными повреждениями. Правда, фактически у вас не было ни болей, ни плохого самочувствия, так что это скорее соответствовало бы параграфу третьему, но я учитываю, что вы… хм… как бы это сказать… потерпели некоторый моральный ущерб.

Он с отсутствующим видом взял бумагу и поплелся к дверям. Там он вдруг остановился и, нерешительно помявшись, заговорил:

— Позвольте мне сказать… Я не понимаю, что со мной случилось. Как будто я сошел с ума и говорил совсем не то, что думаю. Никто не может любить свою работу больше, чем я, и, конечно, мне и в голову не пришло бы с ней расстаться. Я надеюсь еще не раз доказать свою преданность, я готов вынести самые тяжелые испытания на

благо Империи.

— Вам придется остаться на старой работе, по крайней мере до тех пор, пока не заживет рука, — ответил я, — иначе вас едва ли возьмут на новое место. И потом, что вы, собственно, умеете? Да и не пристало человеку вашего возраста ни с того ни с сего менять профессию. Учтите, пожалуйста, что и состояние здоровья у вас не блестящее…

Я до сих пор еще помню, каким высокомерным тоном говорил тогда. Дело в том, что я почувствовал к своему первому испытуемому сильнейшую неприязнь. Причин было более чем достаточно: его трусость и эгоистическая безответственность, причем и то и другое он пытался скрыть под маской отваги и жертвенности, так как отлично понимал, что мы хотим видеть в нем именно эти черты.

Да, указания Седьмой канцелярии прочно запечатлелись в моем сознании! Я сам видел, сколь отвратительна тщательно скрываемая трусость, она даже хуже, чем тайная скорбь. Но у моей враждебности имелась и другая причина, о которой я догадался много позднее: зависть. Этот недостойный человек говорил о прекрасном, священном мгновении, пусть давно прошедшем, но все же… Я завидовал тому высокому порыву,

что когда-то привел его в Департамент пропаганды, где собирали будущих жертв-добровольцев. Может быть, одно такое мгновение утолило бы сжигавшую меня жажду, с которой я напрасно боролся, пытаясь постигнуть внутренний мир Линды? Видимо, тогда я еще не додумал все до конца, но у меня появилось ощущение, что передо мной человек, облагодетельствованный судьбой и не ценящий этого. Это и раздражало меня больше всего.

Между тем Риссен повел себя очень странно. Он подошел к испытуемому, положил руку ему на плечо и заговорил так мягко, словно перед ним стоял не взрослый мужчина, а ребенок:

— Пожалуйста, ничего не бойтесь. Все, что здесь произошло, останется между нами. Считайте, что вы вообще ничего не говорили.

Испытуемый смущенно взглянул на него, быстро отвернулся и выскочил в коридор. Я хорошо понимал его замешательство. Будь у него больше гордости, он плюнул бы в лицо начальнику, который так фамильярно обращается с подчиненными. И кто станет ценить такого шефа, кто станет его слушаться? Тот, кого никто не боится, не может вызвать уважения, потому что оно строится на признании силы, власти, могущества,

которые всегда опасны для окружающих.

Мы остались вдвоем, и в комнате наступила тишина. Я не любил перерывы, которые вечно устраивал Риссен — не работа, не отдых, а так, неизвестно что.

— Понимаю, о чем вы думаете, мой шеф, — сказал я наконец. — Вы думаете, что это еще ничего не значит, что я мог заранее подучить его. Эти высказывания, разумеется, компрометируют его, но криминала здесь нет. Ну что, угадал я?

— Нет, — отозвался Риссен, словно очнувшись, — нет, я так не думаю. Он, безусловно, говорил то, что у него на душе, но что он обычно скрывает. Не сомневаюсь, что с начала до конца он говорил искренне, и стыд его тоже вполне искренний.

И хоть такая доверчивость была мне на руку, в душе я все-таки рассердился. Это же просто недопустимое легкомыслие! № 135, в котором, как во всяком солдате в нашей Империи, с детских лет воспитывали строжайшее самообладание и выдержку, мог просто-напросто разыграть спектакль. Но я удержался от замечаний и только спросил:

— Может быть, вы разрешите продолжить?

Но этот странный человек, казалось, меня не

слышал.

— Любопытное открытие, — сказал он задумчиво. — Как это вам пришло в голову?

— Я основывался на том, что было сделано до меня. Препарат, оказывающий подобное действие, получили пять дет назад, но он обладал сильной токсичностью. Все без исключения испытуемые после первого же раза оказывались в психиатрической лечебнице. В конце концов туда попало столько народу, что автору сделали строгое предупреждение, на том дело и заглохло. Но мне удалось нейтрализовать ядовитые компоненты. Сказать по правде, я с нетерпением жду результатов проверки…

И как бы мимоходом я добавил:

— Надеюсь, препарату будет дано название «каллокаин», по моей фамилии…

— Разумеется, разумеется, — равнодушно отозвался Риссен. — А вы представляете, какую большую роль может сыграть ваше открытие?

— Думаю, что да. Как говорится, где нужда велика, там и помощь близка. Вы же знаете, что суды завалены ложными показаниями. Не проходит ни одного процесса, чтобы свидетели не противоречили друг другу, и, заметьте, дело тут не в ошибках или небрежностях, а в чем — я и

сам не знаю.

— А разве так уж трудно… — Риссен постучал кончиками пальцев по столу, эта его манера всегда действовала мне на нервы. — Разве так уж трудно понять, в чем тут дело? Позвольте задать вам вопрос, можете не отвечать, если не хотите: считаете ли вы, что лжесвидетельство всегда и при всех обстоятельствах — зло?

— Конечно нет, — ответил я раздраженно, — нет, если того требуют интересы Империи. Но я имел в виду рядовые судебные процессы, где решаются мелкие житейские дела.

— Но вы только подумайте, — возразил Риссен с хитрым видом, — вы представьте себе: разве не в интересах Империи осудить негодяя, хотя он, может быть, и не совершал того, в чем его обвиняют? Разве не в интересах Империи осудить моего вредного, испорченного, глубоко несимпатичного недруга, даже если он и не нарушал закона? Он-то сам, обвиняемый, безусловно, потребует детального расследования, но с какой стати столько возиться с какой-то отдельной личностью?..

Я не совсем понимал, куда он клонит, и на всякий случай поспешил нажать кнопку звонка, вызывая следующего испытуемого. Это оказалась женщина, и, делая ей укол, я сказал Риссену:

— Как бы то ни было, с этими лжесвидетельствами творится черт знает что, и в большинстве случаев они вовсе не на пользу Империи. Но мое открытие разрешит эту проблему. Можно даже не проверять показания свидетелей, ведь сам преступник запросто сознается после укола. Все мы знаем, что такое допрос третьей степени… Только поймите меня правильно, я не собираюсь критиковать эти методы, ведь до последнего времени других не было, а преступников нужно разоблачать, и ни один человек с чистой совестью не станет их жалеть…

— Послушать вас, так ваша совесть ничем не запятнана, — сухо отозвался Риссен. — Боюсь, что это самообман. Мой опыт подсказывает, что ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. Ну в юности другое дело, некоторые, может быть… Впрочем, вам ведь еще нет сорока?

— Еще нет, — ответил я, стараясь говорить как можно спокойнее. К счастью, я стою спиной к Риссену, так что мне не нужно смотреть ему в лицо. Я был возмущен, и даже не выпадами против меня лично, а вообще его взглядами. Ничего себе картину он нарисовал: у всех подданных Империи зрелого возраста нечистая совесть! Я

улавливал в его словах нападки на самые дорогие мне святыни.

Должно быть, по моему тону он понял, что зашел слишком далеко. Мы продолжали работать молча и лишь изредка обменивались замечаниями по ходу дела.

Остальных испытуемых, прошедших передо мной в тот день, я могу вспомнить лишь в самых общих чертах. Естественно, что первый запомнился мне ярче других, но, надо сказать, я так и не был уверен, что мой препарат всегда и во всех случаях действует достаточно эффективно. Может быть, я просто не мог целиком отдаться работе: чувство негодования по отношению к Риссену, отнимавшее у меня много душевных сил, мешало целиком сосредоточиться на эксперименте. Потому-то мне и не запомнились детали, и я постараюсь передать лишь общие впечатления.

До обеда мы приняли семь человек — один никудышнее другого. После этого я почувствовал себя совершенно разбитым. С презрением и ужасом глядя на них, я спрашивал себя: неужели в Службе жертв-добровольцев собрались одни подонки? Нет, невероятно! Такую профессию мог выбрать лишь человек решительный, му-

жественный, готовый к самопожертвованию и бескорыстный. Я начисто отметал мысль о том, что это работа наложила на них такой отпечаток. Но так или иначе их внутренний мир производил весьма удручающее впечатление.

№ 135 был трусом и скрывал свою трусость. Но он имел одно достоинство: через всю жизнь он стремился пронести память о давно прошедшем, великом и святом мгновении. Другие оказались гораздо хуже. От них я не слышал ничего, кроме жалоб — и не только на свою профессию, раны, болезни, вечный страх, то есть на все то, что они выбрали сами, но и на всякие пустяки — жесткие постели в Приюте, ухудшение питания (значит, они тоже это заметили!), небрежности, допускаемые врачами и сестрами. Может быть, и в их жизни некогда было великое мгновение, только сейчас они его прочно забыли. Думаю, они не приложили таких усилий, как № 135, пытавшийся сохранить память о нем на всю жизнь. Да, сколь ни жалок был № 135, когда я получил возможность сравнить его с остальными, он показался мне чуть ли не героем. У некоторых, кроме того, обнаружились черты, которые вызвали у меня попросту отвращение и ужас: непонятные чудачества, жуткие фантазии, безмерная, но,

как видно, тщательно скрываемая распущенность. Среди испытуемых оказались и женатые, которые жили не в Приюте, а дома; и смешно, и стыдно было выслушивать подробности их брачных отношений. Короче говоря, теперь мне ничего не стоило усомниться в достоинствах сотрудников Службы жертв-добровольцев, а то и всех вообще подданных Мировой Империи или человеческого рода в целом. И каждому из тех, кто проходил через наш кабинет, Риссен торжественно обещал, что все его признания сохранятся в строжайшей тайне. Меня при этом буквально передергивало.

Особенно тяжелое впечатление произвел на меня последний испытуемый — старик, который плел что-то насчет убийства на почве полового извращения, хотя я был уверен, что не только самого этого убийства он не совершал, но даже подходящего случая ему не представлялось. После этого я уже больше не мог сдерживаться и, чтобы дать какой-то выход своим чувствам, обратился к Риссену с извинениями за моих подопытных.

— Вы что, действительно считаете их подонками? — тихо спросил он вместо ответа.

— Конечно, не каждый из них потенциальный убийца или извращенец. Но посмотрите на

их общее убожество, это же сверх всяких допустимых пределов, сверх всего, что возможно и дозволено…

Согласись он — и мне стало бы легче, мучившее меня чувство неловкости, наверное, если и не исчезло бы совсем, то хотя бы уменьшилось. Но он и не думал соглашаться, и от этого мне стало совсем скверно. Тем не менее мы продолжали разговаривать даже по дороге в столовую.

— Дозволено… гм… дозволено, — повторил Риссен. Но тут мысли его перескочили на другое: — Будьте довольны, что нам не попались святые и герои дозволенного образца. Боюсь, что они меня не убедили бы. И заметьте, ни одного настоящего преступления.

— Да, но последний-то, последний! Верно, он не совершал преступления и вряд ли когда совершит, ведь он уже старик и в Приюте за ними, конечно, достаточно хорошо следят. Уверен, что все это — одни фантазии, но если бы он был молод, то мог и претворить их в жизнь! Вот в таких случаях и нужен мой каллокаин. Сами знаете, иной раз и оглянуться не успеешь, как случится беда. Каллокаин поможет предотвратить многие несчастья.

— Да, если проверять именно тех, кого следует.

Но как их угадать? Не собираетесь же вы подвергать испытанию всех подряд?

— Вот именно — всех подряд! А почему бы и нет? Конечно, пока это только мечта, но разве она неосуществима? Я предвижу то время, когда при назначении на любую должность проверка каллокаином станет таким же обычным делом, как сейчас применение тестов. Таким образом можно выявить не только пригодность к той или иной профессии, но и характер человека. Я даже подумал сейчас: а не ввести ли обязательную ежегодную проверку для всех?..

— Да, у вас большие планы, — прервал меня Риссен, — но для их осуществления потребуется огромный аппарат.

— Вы правы, мой шеф, безусловно, понадобится огромный аппарат, — пожалуй, даже специальное учреждение с колоссальным штатом. Но для этого необходимо прежде всего увеличить население. Вот уж сколько лет ведется пропаганда, а результатов не видно. Боюсь, что только новая большая война может нам помочь.

Риссен покачал головой.

— Это совсем необязательно, — сказал он. — Если окажется, что ваш проект необходимо осуществить, что это единственное средство, ко-

торое может внести успокоение в высшие сферы, будьте уверены, соответствующее учреждение тут же появится. Урежут наши жизненные блага, продлят рабочий день, но это учреждение будет функционировать, и великолепное чувство полной и абсолютной безопасности возместит нам все, что мы потеряем.

Я так и не понял, всерьез он говорил или нет. Увы, я подавил печальный вздох при мысли о вновь урезанных жизненных благах (такое уж неблагодарное существо человек — жаждет наслаждений и равнодушен ко всему, что лично его не касается). С другой стороны, мне весьма льстила мысль о том, что каллокаину суждено сыграть столь большую роль. Но прежде чем я успел собраться с мыслями, Риссен добавил уже другим тоном:

— Но ясно одно — мы распростимся с последними остатками личной жизни.

— Ну и что? — возразил я. — Зато каллокаин завоюет область, вечно служившую прибежищем антисоциальных тенденций. А это означает, что великая общность, великая связь наконец проявится во всей своей полноте.

— «Общность, связь», — повторил он медленно и как бы сомневаясь в чем-то.

Я не успел ответить. Мы стояли у дверей столовой, откуда каждый должен пойти на свое место. Задержаться и договорить мы не могли: во-первых, это вызвало бы удивление, во-вторых, мы просто не устояли бы посреди огромного потока людей, стремившихся к обеденным столам. Но чем дольше я потом размышлял над сказанным, тем больше раздражал меня его неуверенный, сомневающийся тон. Ну не свои же выдумки я преподносил ему, все то, что я говорил относительно общности, он прекрасно знал сам. Каждому с детства известна разница между низшими, простейшими формами жизни, как, например, одноклеточные животные и растения, и высшими, развитыми и сложными, как человеческое тело во всем единстве и многообразии его функций. Каждому известно также, что нечто подобное имеет место и в социальной жизни. Риссену следовало бы, кроме того, понять, что каллокаин явился как бы новым и необходимым звеном в цепи этого развития, ибо он открывал великой общности путь во внутренний мир, который до сих пор каждый человек оберегал как свою собственность. Так вот, неужели Риссен действительно не видел этого или просто не хотел видеть?

Я отыскал его глазами. Он сидел, как всегда, ссутулившись, и с рассеянным видом зачерпывал ложкой суп. Все-таки он вызывал у меня какую-то неясную тревогу. Мало того что он не похож на других, во всех его чудачествах я инстинктивно чувствовал какую-то опасность. Я еще не понимал, в чем она состоит, но это ощущение заставляло меня особенно внимательно относиться к его словам и поступкам.

После обеда я собирался продолжить эксперимент уже на новой, усложненной стадии. Собственно, задумал я это в расчете на инспектора менее покладистого, чем Риссен, но, пожалуй, в любом случае основательная проверка необходима, поскольку о результатах моих опытов узнает не один только инспектор: если они окажутся удачными, их обсудят в других Городах Химиков; о них, возможно, заговорят и столичные юристы. От испытуемых, которых я запрашивал на сей раз, не требовалось ни крепкого здоровья, ни молодости — нужна была только психическая полноценность. Зато я поставил еще одно условие, чрезвычайно редко предъявляемое к сотрудникам Службы жертв-добровольцев, — они должны иметь семью.

Чтобы получить разрешение на этот новый

эксперимент, нам пришлось звонить в полицию. Мы имели право распоряжаться телом и душой каждого из тех, кто работал в Службе жертв-добровольцев, но над их женами и мужьями мы не имели никакой власти, и, чтобы привлечь их к эксперименту, требовалось специальное разрешение начальника полиции. Сперва он не хотел идти нам навстречу, так как не мог понять, зачем понадобились еще какие-то испытуемые помимо профессионалов, но, когда мы убедили его, что нашим подопытным не грозит ничего, кроме легкого недомогания да, может быть, испуга, он согласился, только велел вечером зайти к нему лично, чтобы в спокойной обстановке объяснить все подробно.

Я вызвал одновременно всех десятерых испытуемых. Мне следовало занести в картотеку не только их номера, но и имена, и адреса, которые в удостоверениях обычно не значились. Это вызвало некоторое замешательство испытуемых, но я поспешил успокоить их, объяснив, что нам требуется.

Придя домой, они должны вести себя так, словно их что-то встревожило или напугало, или же — на выбор, кому что подойдет — держаться неестественно бодро и намекать на благоприят-

ные перемены в будущем. В ответ на расспросы близких следует доверительным тоном сообщить, что некто предложил большие деньги в обмен на шпионские сведения. Скажем, какой-то человек подсел в подземке и прошептал на ухо, что ничего не пожалеет за план лабораторий или, допустим, за схему линий подземки, хотя бы самую приблизительную. Вот и все. Потом только ждать, разумеется, ни словом не обмолвившись о том, что все это связано с каким-то экспериментом.

После работы мы отправились в управление полиции, захватив с собой доставленные с курьером пропуска и прошение за подписью главного руководителя лабораторий. Это был вечер военно-полицейской службы, и мне с большим трудом удалось освободиться при условии, что в следующий раз мне дадут двойную нагрузку. Нас очень радовала возможность повидаться с начальником полиции — без его помощи мы никак не могли обойтись. Не так легко оказалось перетянуть его на нашу сторону — и не потому, что он не понимал сути дела, а потому, что в тот момент находился в дурном настроении и ко всему на свете склонен был относиться подозрительно. Впрочем, его скептицизм произвел

на меня куда более благоприятное впечатление, чем риссеновское легковерие. Когда мы наконец убедили его, меня охватило такое чувство, словно мне удалось открыть долго не поддававшуюся дверь — и не с помощью отмычки, не взламывая замок, а тщательно подобрав ключ. Дело в том, что мы хотели заполучить тех лиц, кому мужья и жены — наши штатные испытуемые — должны были рассказать о своем мнимом проступке. Все, кому доверялась эта тайна, сами становились соучастниками преступления, и их на вполне законном основании можно было арестовать. Как именно это сделают, нас не интересовало, мы хотели только, чтобы их доставили к нам. Посвятит ли начальник полиции в суть дела кого-нибудь из своих сотрудников, нас тоже не касалось. Важно было одно: чтобы члены семей наших испытуемых прошли проверку каллокаином. Это мы и объяснили ему, добавив, что если он хочет, то может познакомиться с результатами и убедиться, что никто не пострадает от наших опытов и что мы не собираемся без нужды губить человеческий материал. Окажет ли он нам честь тем, что придет лично или пришлет кого-то из подчиненных, мы в любом случае будем очень рады. Это последнее замечание несколько смяг-

чило его дурное настроение, причем, как я мог заметить, интерес к моему открытию он проявил уже раньше. Итак, нам все-таки удалось получить его официальное разрешение. Когда он наконец четким размашистым почерком написал внизу свое имя: Вай Каррек. Мы также предупредили его, что, вероятно, не все из супругов захотят скрывать проступки своих близких и сообщат о них куда следует, пусть в полиции будут готовы к этому. Тех же, кто умолчит, мы попросили доставить к нам как можно скорее (список испытуемых с адресами уже лежал на столе у Каррека). После этого, усталые, но удовлетворенные, мы отправились по домам.

Когда я вошел в квартиру, Линда уже спала. На ночном столике меня ожидало извещение по поводу военно-полицейской службы. Теперь на нее отводилось не четыре, а пять вечеров в неделю. Соответственно сокращалось число семейных вечеров — отныне мы могли располагать только одним. Вечер докладов и торжеств сохранялся — это необходимо не только для отдыха и в целях воспитания, но имело и другое значение: где еще могли бы юноши и девушки, уже покинувшие Унгомслэгер, знакомиться и влюбляться? Мы с Линдой тоже когда-то встречались на таких

вечерах. В общем, это извещение (Линде пришло точно такое же) подтверждало мои прежние наблюдения.

Я уже знал по опыту, что все на свете делалось за счет семейных вечеров, и могло пройти много времени, прежде чем у меня наконец выдастся свободный час. И так как было еще не слишком поздно и я чувствовал себя не таким измученным, как после военной службы, то решил заняться делом, не терпящим отлагательства, — написать свое выступление для радио.

«Я, Лео Калль, проживающий в Четвертом Городе Химиков, сотрудник экспериментального отдела лаборатории по изучению органических ядов и наркотических средств, хочу выступить с покаянием.

19 апреля с. г. на прощальном вечере в Унгдомслэгере в честь вновь мобилизованных на работу я допустил грубую ошибку. Основываясь на неправильном понимании сострадания как жалости по отношению к отдельной личности и на неверном толковании героизма, который был мною поставлен в связь не со светлыми и радостными, а с мрачными и трагическими явлениями жизни, я произнес следующую речь. (Тут надо было воспроизвести мое выступление, причем

слегка ироническим тоном.) По этому поводу Седьмая канцелярия Департамента пропаганды направила мне письмо… (Далее шел текст письма. Его особенно важно прочитать по радио — пусть послужит предупреждением всем тем, кто мыслит так же, как я раньше.) Я сожалею о том, что совершил эту ошибку, и целиком и полностью признаю правоту Седьмой канцелярии, убедительно разъяснившей пагубность моих заблуждений. Считаю необходимым добавить, что в дальнейшем всегда буду руководствоваться полученными указаниями».

Утром я попросил Линду просмотреть письмо. На сей раз она осталась довольна и сказала, что тон письма именно такой, как надо: без потаенной иронии и неуместной гордыни. Осталось только переписать его начисто, послать на радио и потом где-то в конце длинной очереди дожидаться, пока мне отведут время в программе «Час покаяний».

* * *

Ситуация принимала весьма неприятный оборот. Когда мы с самого утра позвонили в полицию, оказалось, что девять человек из десяти уже прислали доносы на своих мужей и жен. С десятым пока было неясно. Во всяком случае, ордер на арест уже приготовили, и не исключено, что через два-три часа мы получим первого испытуемого.

Итак, хорошего мало. То есть я, конечно, должен признать, что даже слегка удивлен и той преданностью Империи, и той оперативностью, которую проявили эти девять человек, — само собой, можно только радоваться, если бы… если бы все это не вредило эксперименту. Опыт необходимо повторить. Требовалось хотя бы несколько раз получить бесспорный результат: только в этом случае каллокаин можно передавать в пользование Империи.

Мы снова запросили из Службы жертв-добровольцев группу десять человек — женатых и замужних. Когда они явились, я повторил перед ними свою вчерашнюю речь. Все шло как вчера,

с той только разницей, что новые испытуемые производили еще более жалкое впечатление, чем прежние. Двое притащились на костылях, а у одного голова была забинтована. Правда, для моих опытов это не имело значения, но в принципе никуда не годилось.

Вообще недостаток испытуемых в последнее время ощущался все сильнее и сильнее. Конечно, с годами их здоровье портилось и они выбывали из игры, это я понимал, но что-то необходимо предпринимать. И как только все мои подопытные ушли, меня буквально прорвало:

— Это же форменный скандал! Скоро нам вообще не с кем будет работать. Придется, наверное, экспериментировать с умирающими и душевнобольными. По-моему, властям давно пора провести кампанию по привлечению новых жертв-добровольцев.

— Никто вам не мешает подать прошение, — отозвался Риссен, пожав плечами.

Действительно, хорошая мысль. Никто не обратит внимания на жалобу какого-то одиночки, но можно собрать подписи сотрудников всех лабораторий, где ощущается нехватка жертв-добровольцев. Я решил, что в первый же вечер, когда у меня будут силы, в крайнем случае даже в свой

свободный вечер, напишу такое обращение, а потом разошлю копии в разные учреждения. Я не сомневался, что в верхах подобную инициативу только одобрят.

Пока мы сидели в ожидании, Риссен принялся расспрашивать меня о свойствах каллокаина и подобных ему препаратов. В своем деле он разбирался хорошо, этого у него не отнять. Мои объяснения как будто удовлетворили его, но я сам, говоря откровенно, был несколько удивлен. Зачем эти расспросы? Может, ему хотелось выяснить, гожусь ли я для другой, более ответственной должности? Сам я в глубине души в этом не сомневался, но, с другой стороны… С другой стороны, Риссен наверняка инстинктивно чувствовал мое недоверие и отвечал мне тем же. Его дружелюбие я встречал весьма сдержанно. Кто знает, что ему от меня в действительности нужно. Я не хотел тешить себя ложными надеждами.

Через два часа в нашу комнату вошел ни больше ни меньше как сам начальник полиции Каррек. Разумеется, это большая честь для всей лаборатории, а особенно для меня. Еще бы, такой могущественный человек заинтересовался нашим экспериментом! Со слегка иронической улыбкой — похоже, ему неловко так открыто

проявлять любопытство — он уселся на предложенный мною стул. Тут же ввели арестованную — молодую женщину, невысокую и хрупкую на вид, а еще очень бледную — то ли от природы, то ли просто от волнения.

— Вы обращались в полицию? — спросил я на всякий случай.

— Нет, — ответила она удивленно. Мне показалось, что кожа ее лица не то чтобы побледнела — больше побледнеть просто невозможно, — а стала совсем прозрачной.

— И вам не в чем признаться? — спросил Риссен.

— Нет! — Теперь ее голос звучал спокойно и безразлично.

— Вы обвиняетесь в преступлении перед Империей, — сказал я. — Вспомните хорошенько: никто из ваших близких не упоминал при вас о каких-либо противозаконных действиях?

— Нет, — ответила она уверенно.

Я почувствовал облегчение. То ли из-за преступности своей натуры, то ли по чистому недоразумению она своевременно не обратилась в полицию и теперь, конечно, не смела в этом признаться. Скорее всего, ей страшно. В обычных условиях эта женщина с прямой осанкой

и плотно сжатыми губами произвела бы впечатление человека смелого и энергичного, но сейчас вид у нее был упрямый и вызывающий. Я с трудом удержался от улыбки, когда представил себе, как она обманывается, скрывая драгоценную тайну, и как легко мы сейчас узнаем этот секрет — мы, отлично понимающие, чего она стоит. Больше того, сколько она пережила, пока ее в наручниках и с кляпом во рту, как всякого имперского преступника, везли с огромной скоростью в запломбированном вагоне по самой нижней — военной и полицейской — линии подземки, а из-за чего эти переживания? Но я так и не улыбнулся. Пусть историю со шпионажем мы выдумали, пусть даже наше расследование — сплошная комедия, но эта женщина — по небрежности или по злому умыслу — совершила преступление. Вот что главное во всей истории.

Между тем она, казалось, близка была к обмороку. Вероятно, моя невинная лаборатория представлялась ей чем-то вроде камеры пыток. Риссен дал ей успокаивающее, я сделал укол, и мы трое — Риссен, Каррек и я — стали ждать.

От этой хрупкой испуганной женщины, не имевшей профессиональной подготовки жертв-добровольцев, мы вполне ожидали такой же

бурной реакции, какую проявил № 135, мой самый первый испытуемый. Но вышло совсем иначе. Ее застывшее, худое, с острыми скулами лицо медленно, очень медленно, стало проясняться, и на нем появилось выражение какой-то детской чистоты. Морщины на лбу разгладились. По губам пробежала неуверенная улыбка. Потом она резко выпрямилась на стуле, широко открыла глаза и глубоко вздохнула. Мы напряженно ждали ее первых слов, но она по-прежнему молчала. Я уже начал сомневаться, подействовал ли препарат, но тут она заговорила. В голосе ее звучали одновременно облегчение и изумление:

— Ничего не нужно бояться. Наверное, он тоже это знал. Ни боли, ни смерти. Ничего. Почему я тогда этого не сказала? Теперь понимаю, что, когда вчера вечером он говорил со мной, он уже все знал. Я никогда этого не забуду. Того, что он посмел. Я никогда не смогла бы. Но я буду всю жизнь гордиться тем, что он решился, и всю жизнь буду ему благодарна. Теперь мне есть для чего жить — я должна когда-нибудь отплатить ему тем же.

— На что он решился? — прервал я, торопясь скорее добраться до сути дела.

— Рассказать мне. Я никогда не посмела бы.

— Что же он рассказал?

— Ах, да это неважно. Просто чепуха. У него попросили какие-то схемы или чертежи и обещали за это заплатить. Он, правда, ничего еще не передал. Говорил, что только собирается, но вот этого я не понимаю. Я так никогда не сделала бы. А то, что он доверился мне… Я тоже теперь буду всем с ним делиться. Мы поймем друг друга. Мы будем все делать вместе. С ним мне нечего бояться — он-то не побоялся меня!

— Вы сказали «схемы или чертежи»? Но разве вам не известно, что снимать какие бы то ни было чертежи категорически запрещено, что это рассматривается как преступление против Империи?

— Да, конечно, известно, я и говорю, что в этом смысле его не понимаю, — ответила она нетерпеливо. — Но теперь мы поймем друг друга. Нам легко будет вместе. Вы представьте только: я его боялась, а он меня — нет, раз он смог заговорить со мной об этом! У него нет никаких причин бояться меня. И никогда не будет. Никогда. Я понимаю, что это я…

— Итак, — снова перебил я, — он договаривался с кем-то о передаче схем. Что это были за схемы?

— Да лабораторий, — отозвалась она равнодуш-

но, — но я понимаю, что тут…

— А вы не знали, что это карается как преступление против Империи? И что, скрывая его действия, вы сами становитесь преступницей?

— Да-да, знала. Но не это главное.

— Вам известно что-нибудь о человеке, который интересовался схемами?

— Я спрашивала, но он толком не знает. Этот тип подсел к нему в подземке, пообещал вернуться, но не сказал когда. И сказал, что заплатит, если получит эти схемы. Но раньше мы должны были…

— Достаточно, — сказал я, обращаясь наполовину к Риссену, наполовину к Карреку. — Она сказала все, что должен был передать ей муж. Остальное несущественно.

— Да, это действительно интересно, — отозвался Каррек. — Чрезвычайно интересно. Неужели такое простое средство вызывает людей на откровенность? Но вы уж простите меня, я по натуре скептик. Конечно, я целиком и полностью полагаюсь на вашу честность и добросовестность, но мне все-таки хочется понаблюдать еще за каким-нибудь экспериментом. Пожалуйста, поймите меня правильно. Думаю, вам не надо объяснять, как все это важно для полиции.

Разумеется, мы с величайшей радостью согласились позвать его снова. Одновременно я подсунул ему запрос на новую группу жертв-добровольцев. «Может быть, на этот раз нам повезет и испытуемых окажется больше», — подумал я, но тут же меня охватил панический страх. Мысль, только что пришедшая мне в голову, по сути, ужасна: я невольно пожелал, чтобы в нашей Империи оказались предатели. В моей памяти всплыли вчерашние слова Риссена о том, что ни один из подданных старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью. И внезапно во мне вспыхнула ненависть к Риссену, словно он внушил мне антиимперские мысли. И правда, если бы не эта его фраза, я и не подумал бы о противоречии между моим желанием и интересами Империи.

Между тем женщина вздрогнула и застонала. Риссен протянул ей стакан воды. Внезапно она с криком вскочила и, изогнувшись, прижав ладони ко рту, громко зарыдала. Действие каллокаина прекратилось, она пришла в себя и осознала, что произошло. Зрелище не из приятных, но я почувствовал какое-то удовлетворение. Когда она только что сидела по-детски беззаботная, я тоже против воли начал дышать как-то глубже

и равномернее. От нее исходило спокойствие, какое бывает во сне и какого я сам не испытывал уже давно. Она стала такой, потому что поверила в другого человека, в своего мужа, а ведь он предал ее, предал с самого начала, так же, как она, сама того не ведая, сейчас предала его. И недавнее спокойствие, и теперешний ее ужас — все обман, такой же, как мнимое преступление ее мужа. Я вспомнил о миражах — о пальмах, оазисах, родниках, которые возникают перед людьми, заблудившимися в пустыне. Бывает, несчастные падают на землю, лижут корку солончака, думая, что пьют из ручья, и в конце концов погибают. Нечто подобное случилось и с ней. Но она сама виновата. Ее история — пример того, как губительно черпать из источника индивидуалистических настроений.

Тут мне пришло в голову, что следует сказать всю правду. Не для того, чтобы унять ее дикий страх, а чтобы показать цену мужниного доверия.

— Успокойтесь, — сказал я, — вам нечего волноваться за мужа. И слушайте меня внимательно. На самом деле он никогда не встречал того типа. Он ни в чем не виноват. Историю он рассказал по нашему поручению. Это эксперимент — экспери-

мент над вами.

Она смотрела на меня и, казалось, ничего не понимала.

— История со шпионажем выдумана, — повторил я и даже улыбнулся, хотя, конечно, улыбаться тут нечему. — Вы говорили о доверии — в действительности никакого доверия не было. Ваш муж действовал по нашему приказу.

Кажется, она снова близка к обмороку. Но в следующую же минуту женщина овладела собой и выпрямилась. Мне больше нечего сказать, но я не мог отвести от нее глаз. Невысокая и хрупкая, она неподвижно стояла посреди комнаты, вся напрягшись и словно окаменев, — какой контраст с недавней счастливой уверенностью! Сейчас она вызывала во мне только сострадание. Знаю, это постыдная слабость, но я больше не мог. Я забыл о начальнике полиции, о Риссене. Меня захлестнуло непонятное чувство, мне хотелось сказать ей, что и я испытывал нечто подобное, что и мне бывало тяжело… К счастью, голос Каррека вывел меня из забытья.

— Я считаю, эту женщину следует оставить под стражей, — сказал он. — История со шпионажем — фикция, но ее участие вполне реально. Правда, есть одна загвоздка — мы не можем так сразу вы-

нести ей приговор, надо оформить все по закону.

— Но это невозможно! — воскликнул Риссен. — Во-первых, это эксперимент, а во-вторых, это касается наших служащих — вернее, членов их семей…

— Ах, да неужели это так важно? — возразил Каррек со смехом.

Но я решительно встал на сторону Риссена.

— Даже если мы уволим ее мужа и устроим его на другую работу, а это ведь не так легко при его здоровье, даже в этом случае история может выйти наружу, — сказал я. — И это, конечно, едва ли будет способствовать увеличению числа жертв-добровольцев. А ведь их и сейчас уже не хватает! Очень прошу вас в интересах дела освободить ее.

— Вы преувеличиваете, — ответил Каррек. — История вовсе не обязательно должна выйти наружу. И зачем переводить ее мужа на другую работу? С ним вполне может произойти несчастный случай по дороге домой.

— О нет-нет, надеюсь, вы не лишите нас одного из испытуемых, вы же знаете, как их мало и как они для нас ценны. Что касается женщины, то, думаю, впредь она уже не будет такой легковерной. К тому же, — добавил я, пораженный внезапно пришедшей мне в голову мыслью, — ее арест

будет означать, что применение каллокаина уже узаконено, а на это вы еще не можете дать согласия.

— Ничего не скажешь, вы умеете убеждать. Ну ладно, в интересах дела отпущу ее. Сейчас мне нужно идти, — он взглянул на часы, — но я еще зайду к вам.

Он вышел, и с женщины сняли наручники. Я почувствовал облегчение оттого, что и с опытом, и с ней самой все обошлось. Но, выходя из комнаты, она двигалась как лунатик, и я снова ощутил приступ страха: а вдруг я все-таки допустил ошибку и мой каллокаин, как многие препараты этого типа, оказывает вредное побочное действие, пусть даже не всегда, а только на особо чувствительную нервную систему? Но, как выяснилось потом, я волновался напрасно. Ее муж немного погодя сообщил мне, что жена чувствует себя нормально, только стала несколько более замкнутой. Впрочем, по его словам, она всегда была нелюдимой.

Когда мы снова остались одни, Риссен сказал:

— Вот вам и связь другого типа.

— Связь? — удивился я. — О чем это вы?

— Да об этой самой женщине.

— Ах вот что, — сказал я, еще более удивлен-

ный. — Но ведь такого рода связь существовала еще в каменном веке! В наши дни это пережиток, и притом вредный. Разве не так?

— Хм, — только и мог ответить он.

— Эта история — наглядный пример того, куда заводит слишком сильная тяга друг к другу, — настаивал я. — В таких случаях ослабевают самые основные узы — узы, связывающие нас с Империей!

— Хм, — снова произнес он. И добавил через минуту: — А знаете, не так уж плохо, наверное, было в каменном веке.

— Ну разумеется, это дело вкуса. Если кто-то предпочитает прекрасно организованной, основанной на взаимопомощи Империи извечную борьбу всех против всех… Но вообще-то любопытно представить себе, что среди нас еще бродят неандертальцы.

Я, конечно, имел в виду Риссена, но мне самому стало страшно, и я добавил:

— Я говорю об этой самой женщине.

По-моему, он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. И прикусил губу — подумать только, что иной раз может вырваться у тебя даже и без всякого каллокаина!

* * *

Когда я вернулся домой, вахтер сообщил, что днем ему звонила какая-то женщина. Она просила разовый пропуск для выхода на поверхность, якобы специально для того, чтобы увидеться со мной. Он назвал имя — Кадидья Каппори, но оно ничего мне не говорило. Странно! Чего она хотела, вахтер толком не понял, но уверял, что ясно слышал слово «развод». Это звучало совсем уж таинственно, и в конце концов меня разобрало такое любопытство, что, забыв всякую осторожность, я написал на листке бумаги «Согласен» и назначил время. Вахтер приписал внизу, что осведомлен о приглашении и обязуется проконтролировать время визита. Осталось только послать бумагу в районный контрольный пункт, чтобы там выписали пропуск.

Дома мы с Линдой торопливо поели и отправились на военную службу. В последние дни она отнимала все больше и больше времени. Я страшно уставал, тем более что домой приходилось иногда возвращаться глубокой ночью. Хорошо хоть я довел до конца все, что связано с моим

открытием. Сейчас я бы нипочем с этим не справился — сказывалось напряжение и усталость последних дней. Оставалось лишь окончательно проверить действие препарата на практике, а это только вопрос времени. Надо сказать, что присутствие Риссена постоянно меня подстегивало. Впрочем, нетрудно было заметить, что и он порядком устал.

Между тем наш эксперимент застрял на мертвой точке. Жены и мужья всех наших испытуемых тут же обращались в полицию; мы ежедневно получали их доносы целыми пачками. А ведь скольких трудов стоило найти среди жертв-добровольцев женатых и замужних! Последний раз нам пришлось ждать целых три дня, пока их набралось несколько человек. Когда наконец наступил мой свободный вечер, меня не тянуло ни к каким развлечениям, хотелось только одного — как можно раньше лечь спать. Дети были уже в постелях, горничная ушла; я завел будильник и начал раздеваться, как вдруг у двери раздался звонок.

«Кадидья Каппори!» — вспомнил я. Теперь я уже проклинал свою дурацкую вежливость. Хуже всего то, что, если не считать детей, я оказался дома один. Линде пришлось пойти на собрание

комиссии по подготовке вечера в честь директрисы — управляющей городскими пищевыми трестами, которая собиралась уйти на пенсию.

Я открыл дверь. На пороге стояла рослая пожилая женщина с простым грубым лицом.

— Соратник Лео Калль? — спросила она. — Я Кадидья Каппори. Вы были так любезны, что согласились уделить мне внимание.

— Очень сожалею, но я сейчас дома один и не могу принять вас, — ответил я. — Возможно, вы проделали долгий путь, и, право же, мне перед вами очень неудобно, но вы ведь сами знаете, как иногда бывает: человек подвергается провокации, а доказать свою невиновность не может, потому что у него нет свидетелей, а полиция по чистой случайности как раз на эту комнату не составила рапорта.

— Но я не сделаю вам ничего плохого, — сказала она просительно. — Уверяю вас, я пришла сюда с открытым сердцем.

— Я не имею в виду лично вас, но поймите: мы же с вами незнакомы. Не знаю, что вы потом скажете обо мне. Боюсь, что мне все-таки придется попросить вас уйти.

Я нарочно говорил громко — на всякий случай, чтобы слышали соседи. Она, видимо, поняла это

и предложила:

— Может быть, вы позовете кого-нибудь из соседей, хотя, конечно, я предпочла бы поговорить с вами наедине.

Ну что ж, выход из положения найден. Я позвонил в ближайшую дверь. Там жил врач, обслуживающий персонал столовых при экспериментальной лаборатории. Мы, собственно, не были знакомы, я только знал его в лицо да еще слышал иногда, как бранится его жена — надо сказать, слишком громко для наших тонких стен. Он сам открыл дверь (как оказалось, тоже сидел дома один), и я изложил свою просьбу. Выражение недовольства, которое я заметил у него на лице в первый момент, исчезло, сменившись заинтересованностью. Он так быстро согласился, что я успел раскаяться в своей затее, у меня мелькнула мысль, а не сговорились ли они заранее. Но, если рассуждать трезво, это едва ли возможно.

Мы вошли в спальню взрослых. Я торопливо накрыл приготовленную на ночь постель.

— Вы, разумеется, не знаете меня, — начала она, — дело в том, что я жена Того Бахара из Службы жертв-добровольцев.

У меня упало сердце. Итак, это одна из тех

лояльных соратниц, что срывали мой эксперимент. Несомненно, она явилась, чтобы донести на мужа. Да, но почему именно сюда? Заподозрила что-то? Или ей показалось, что прийти и сообщить обо всем мне — начальнику ее мужа — будет как-то достойнее, нежели обращаться прямо в полицию? Но, как бы то ни было, остановить ее я уже не мог.

— У нас дома случилась ужасная вещь, — продолжала она, опустив глаза, — на днях мой муж пришел и сказал, что он совершил, ну… самое худшее, что только можно придумать… преступление против Империи. Я ушам своим не поверила. Мы с ним больше двадцати лет живем, у нас дети, и я всегда считала, что вижу его насквозь. Ну, конечно, бывает у него плохое настроение, иногда нервничает, раздражается, но уж такая профессия! Я-то работаю в районной прачечной, мы и живем поблизости. Ну да ладно. В общем, я думала, что все про него знаю. Не то чтобы мы с ним очень много разговариваем, но когда проживешь вместе хотя бы два года, и то уже наперед знаешь, что тебе человек может сказать, а если топчешься все в тех же двух комнатах целых двадцать лет… Ну да что говорить. И вдруг такое!.. Сперва я подумала: шутки какие-то, не

мог он этого сделать. А потом сказала сама себе: «Ни в ком нельзя быть уверенным!» Ох, да разве я думала когда-нибудь, что со мной случится такое! Чего только я за ту ночь не пережила. Поседела бы, если бы уже не была седая. Ну как я могла представить, что Того, мой Того станет предателем! Да ведь то-то и оно, что с виду предатели такие же обыкновенные люди. Только нутро у них другое, а так притворяются, негодяи. Ну вот, я лежала и думала о Того. И утром, когда встала, он для меня уже не был человеком. Он был хуже дикого зверя. В первую минуту, как я утром взглянула на него, мне показалось, что это просто страшный сон. Ведь Того — такой же, как всегда. И я подумала, что, если быть с ним поласковее, все еще, может быть, обойдется. Но потом поняла, что нечего жалеть предателей, от этого они не станут лучше — нет-нет, о таком и думать опасно. Он конченый человек, испорчен до глубины души. И вот только я пришла на работу, как сразу же позвонила в полицию. А что, по-вашему, еще я должна была делать? И, конечно, думала, что его тут же заберут. Он вечером пришел с работы, заметил, что я чего-то жду, и сказал: «Так и есть, ты донесла на меня. И зря. Это был такой эксперимент, а теперь ты все испортила». Ну сами

посудите, могла я ему поверить? А когда все-таки поверила и хотела на радостях его обнять, он вдруг как разозлится. И знаете, что сказал? Что он хочет со мной развестись.

— Да, очень странно, — это было единственное, что я мог сказать.

Она судорожно сглотнула — наверное, чтобы не расплакаться.

— Я не хочу, чтобы он уходил. Это несправедливо. Я не сделала ничего плохого.

Да, это святая правда. Нельзя наказывать за поступок, свидетельствующий о подлинной преданности Империи. Наоборот, за это следует наградить. Ее Того должен остаться при ней.

— Он решил, что больше не может мне доверять, — продолжала она, глотая слезы. — Да, если он предатель, тогда конечно, но если он человек, то это же совсем другое дело. Почему он тогда не может мне доверять?

В моей памяти вновь всплыло изможденное одухотворенное лицо той, другой женщины, и вновь чувство грустной безнадежности охватило меня. Что за бессмысленное ребяческое желание — непременно иметь кого-то, кому можно доверить все, что бы ты ни сделал! В глубине души я сознавал, что в этом есть нечто успокоительное,

нечто влекущее… Нет, в каждом из нас заложено что-то от малого ребенка или от первобытного дикаря, только в одном больше, а в другом меньше. И как раньше я почувствовал себя обязанным разрушить иллюзии той женщины, так и сейчас я должен сделать то же самое для мужа Кадидьи Каппори, пусть даже ценой еще одного свободного вечера.

— Приходите ко мне оба, — сказал я, записывая на листке бумаги свои свободные часы. — Если он не одумается, я с ним поговорю.

Она принялась горячо благодарить. Я проводил их с соседом до двери. Он, по-моему, воспринял произошедшее как развлечение — во время нашего разговора без конца посмеивался, да так и ушел с ухмылкой. Но мне было не до смеха. Я слишком хорошо понимал суть дела.

На другой день на работе я не удержался и рассказал Риссену эту историю. Она не имела прямого отношения к нашему эксперименту, но была, на мой взгляд, просто любопытна. Или — я и сам не знаю — мне захотелось показаться Риссену этаким мудрым и всезнающим человеком, к которому другие идут со своими бедами и который шутя разрешает чужие трудности. Как ни странно, при моем критическом отношении к

Риссену, при всем недоверии к нему я почему-то очень дорожил его мнением. Много раз пытался произвести на него хорошее впечатление, но, как правило, он оставался совершенно равнодушным, и в результате я испытывал только стыд. И все-таки снова и снова буквально лез из кожи, чтобы понравиться этому странному человеку, который, казалось, ни к чему на свете не питал уважения. Временами, когда чувствовал, что ничего не выходит, я старался нарочно рассердить его, вероятно, где-то в подсознании таилась мысль, что, если я сумею вывести его из себя, его характер станет мне хоть немного понятнее.

Между прочим, рассказывая про Кадидью Каппори, я вспомнил ее слова: «Он уже не был больше человеком».

— Человеком! — сказал я. — Подумать только, какой прямо-таки мистический смысл вкладывают люди в это слово. Как будто быть человеком — бог весть какая заслуга. Это ведь чисто биологическое понятие. И тому, кто думает иначе, следовало бы как можно скорее избавиться от своих заблуждений.

Риссен посмотрел на меня с какой-то странной улыбкой.

— Ну вот, например, эта Кадидья Каппори, —

продолжал я. — Ее рассуждения о том, что муж перестал быть человеком, идут от предрассудков, поскольку в чисто биологическом смысле он всегда был и останется человеком. В конце концов она приняла правильное решение, ну а как в подобном случае поступили бы другие? Да и она, если бы еще колебалась и медлила, могла бы, сама того не ведая, оказаться изменницей. Нет, я считаю, что прежде всего нужно отучить людей обозначать словом «человек» что-нибудь помимо чисто биологического понятия.

— Не думаю, чтобы заблуждение, о котором вы говорите, разделяли многие, — медленно отозвался Риссен.

Взгляд его остановился на мензурке, которую он держал в руках. Риссен имел привычку говорить вещи, в которых вообще-то не было ничего особенного, но со страшно многозначительным выражением, а я потом часами ломал себе голову, пытаясь разгадать, что же крылось за его словами.

Впрочем, следующая неделя была заполнена такими важными событиями, что у меня не оставалось времени размышлять о чем-то постороннем. Каллокаин пробил себе дорогу, но об этом после, а сейчас расскажу, чем закончилась

история супругов Бахара—Каппори.

Они пришли ко мне ровно через неделю после первого посещения Кадидьи. Линды снова не оказалось дома, но так как на сей раз я знал намерения гостей и, кроме того, муж фактически был у меня в руках, я не стал звать свидетелей.

По мрачному, подавленному виду обоих я понял, что они так и не помирились.

— Итак, — начал я, чтобы помочь им разговориться (лучше всего было свести дело к шутке), — итак, соратник Бахара, на сей раз вы сами устроили эксперимент, и, кажется, вознаграждение не очень-то вас устроило? Но развод — это нечто вроде постоянного недуга, не так ли? Ваш костыль — следствие экспериментов или… хм… семейных распрей?

Он по-прежнему кисло молчал. Жена подтолкнула его:

— Того, милый, ну что же ты, отвечай своему начальнику. Чтобы люди были женаты двадцать лет — и вдруг разошлись из-за такой ерунды! Нет, как хотите, это никуда не годится: сначала приходит и морочит тебе голову каким-то экспериментом, а когда ты сама поступаешь как полагается, вдруг начинает злиться.

— Ты хотела засадить меня в тюрьму, так

неужто теперь без меня не обойдешься? — угрюмо отозвался муж.

— Да это же совсем другое дело! — воскликнула она. — Если бы ты и вправду был предателем, тогда ни за что в жизни я не потерпела бы тебя в доме. Но это не так, на самом деле ты такой же, каким был все двадцать лет. И, конечно, я хочу, чтобы ты остался со мной. Я же не сделала ничего плохого, не понимаю, почему ты хочешь уйти.

— Ответьте мне, пожалуйста, Бахара, — сказал я уже более строгим тоном, — вы действительно считаете, что, сообщив о вас в полицию, ваша жена поступила плохо?

— Ну я не знаю…

— Как поступили бы вы, если бы какой-то человек пришел и сказал вам, что он шпион? Я надеюсь, вы не стали бы долго колебаться. Или, может, я должен подсказать, что вы должны были тут же пойти к ближайшему почтовому ящику или позвонить по ближайшему телефону и сообщить обо всем куда следует? Ну что, вы бы так и поступили?

— Да-да, конечно, но все-таки… все-таки это не одно и то же.

— Очень рад слышать, что вы так и поступили бы, ибо в противном случае вы совершили бы

преступление. Ваша жена как раз и сделала то, о чем говорили мы с вами. Что вы подразумеваете под словами «это не одно и то же»?

Ему, видно, нелегко было объяснить. Он никак не мог собраться с мыслями.

— Я хочу сказать, если она может поверить во что угодно… после двадцати лет. А вдруг я правда сделал бы какую-нибудь глупость, пришел к ней и сказал…

— Ну тогда было бы поздно раскаиваться. А что касается «поверить во что угодно», как вы выражаетесь, так разве вам неизвестно, что наш долг — быть бдительными? Этого требует благо Империи. А двадцать лет — долгий срок, за двадцать лет человек может и измениться. Нет, вам не на что жаловаться.

— Ну да, а если она…

— Знаете, Бахара, боюсь, что еще немного, и мое терпение лопнет. Ваша жена сообщила в полицию о шпионе. Правильно она поступила или нет?

— Ну да… в общем, правильно.

— Итак, она поступила правильно. Она сообщила в полицию о шпионе, но при чем здесь вы? Вы-то не шпион. Правильно она поступила или нет?

— Но когда я смотрю на нее, то не знаю… не представляю, что она про меня думает.

— На вашем месте я не стал бы разводиться с женой из-за того, что она поступила правильно. Я уж не говорю о том, что человеку вашей профессии вообще нелегко жениться. И ни одна честная женщина не захочет встречаться с вами, когда узнает эту историю, а о том, чтобы все ее узнали, я позабочусь. На вас ляжет позорное пятно.

— Да нет, — пробормотал он, видно, совершенно сбитый с толку, — не хочу я, чтобы так получилось.

— Вы меня удивляете, — продолжал я еще более строгим тоном. — Боюсь, что нам придется поговорить в лаборатории. Едва ли это вам понравится…

Последние слова возымели действие. В его тупом взгляде мелькнул испуг. Остановившись на минуту, я продолжал уже более дружелюбно:

— Но я уверен, что вы сумеете преодолеть свои заблуждения. У вашей жены исчезли все подозрения, так что сейчас уже нет никаких причин для развода, не правда ли?

— Да-да, — отозвался он, успокоенный, наверное, но не столько словами, которые он, кажется, толком и не понял, сколько моим дружеским то-

ном. — Конечно, теперь уже нет никаких причин для развода.

Жена, которая, напротив, сразу сообразила, что опасность уже позади, так и просияла. Ее благодарность стала моей единственной наградой за два потерянных вечера. Того Бахара сохранял угрюмый вид, но я подумал, что со временем все у них наладится, и крикнул вслед жене:

— Пожалуйста, немного погодя зайдите ко мне! Посмотрим, действительно ли ваш муж осознал произошедшее!

Бахара знал, что я его начальник. Брак Кадидьи Каппори был спасен.

На этой неделе условия для эксперимента оказались очень благоприятными. На трех человек из десяти не поступило доносов, полиция тут же произвела аресты, и мы таким образом получили в свое распоряжение сразу троих подопытных. Начальник полиции Каррек сам присутствовал при разговоре с ними. Высокий и худой, с загадочным выражением прищуренных глаз, он сидел, откинувшись в кресле и вытянув перед собой длинные ноги, сидел и ждал. Каррек был, безусловно, выдающейся личностью, из тех, про кого говорят: «Он далеко пойдет». И хоть вид у него был такой же расслабленный, как у Риссена,

он никогда не производил впечатления человека сугубо штатского. И если расхлябанность Риссена шла от того, что он жил больше чувствами, чем рассудком, если он готов был скорее подчиняться, чем управлять, то в сгорбленной позе Каррека чувствовалось нечто иное: казалось, он копит силы для решающего удара. Выражение его сурового лица, блеск прищуренных глаз — все напоминало о диком звере, собравшемся перед последним, безошибочно настигающим жертву прыжком. Я не только почитал Каррека, но и возлагал большие надежды на его могущество, и будущее показало, что я не ошибся.

Арестованных вводили по одному. Двое из них оказались заурядными корыстолюбцами, с которыми нам до сих еще не приходилось иметь дела, они просто-напросто польстились на деньги, которые якобы посулил шпион. При этом одна женщина доверительно рассказала об интимных привычках мужа, чем доставила нам с Карреком немалое развлечение. Впрочем, она была, несомненно, образованной и неглупой, но беспредельно эгоистичной. Зато третий дал нам обильную пищу для размышлений.

Почему он промолчал, этого не понимали не только мы, но даже, кажется, и он сам. По всему

было видно, что он вовсе не испытывал к жене той восторженной благодарности за доверие, которую мы наблюдали у одной из первых наших испытуемых. С другой стороны, и предложенная сумма его, видимо, не прельщала. Он и не отрицал возможности того, что его жена могла оказаться предательницей, и в то же время не был уверен, что все происходило именно так, как она говорила. В общем, в нем чувствовалась какая-то вялость или леность мысли, мешающая ему додумать все до конца. И если бы Каррек уже заранее не решил помиловать их всех, из-за этой своей инертности он мог бы серьезно пострадать. В сущности, именно такие люди и представляют опасность для Империи: пока они соберутся что-то предпринять, преступление уже совершится. Его нерешительность и сомнения свидетельствовали о полном равнодушии к благу Империи, поэтому я ничуть не удивился, когда он пробормотал:

— Ах, все это такие пустяки по сравнению с нашим делом!

Я навострил уши. Каррек тоже весь обратился в слух.

— С вашим делом? Но кто вы такие?

Он покачал головой. На губах его блуждала

бессмысленная улыбка.

— Не спрашивайте! У нас нет названия, нет никакой организации. Мы просто существуем, и все.

— Что значит «вы существуете»? Как вы можете говорить «мы», если у вас нет ни названия, ни организации? Кто вы такие?

— Нас много. Не знаю, сколько всего. Некоторых я видел, но по именам почти никого не знаю. Да мне это и не нужно, и никому из наших не нужно. Мы просто знаем, что мы — это мы, и этого достаточно.

Кажется, действие каллокаина заканчивалось. Я вопросительно посмотрел на Риссена, потом на Каррека.

— Во что бы то ни стало пусть продолжает, — процедил сквозь зубы Каррек.

Риссен тоже кивнул. Я ввел еще одну дозу.

— Итак, имена тех, кого вы знаете?

Совершенно спокойно и без малейших колебаний он назвал пять имен и сказал, что больше не знает. Каррек велел Риссену записать их.

— И какой же переворот вы хотели совершить?

Он не ответил. Заерзал в кресле, потом весь напрягся, но ничего не сказал. Сперва я снова

подумал, что в отдельных случаях каллокаин не действует, и меня прошиб холодный пот. Но тут мне пришло в голову, что я, возможно, неправильно поставил вопрос и испытуемый просто не в состоянии ответить на него. Может быть, надо спросить как-то иначе, проще… И я начал осторожно:

— У вас ведь есть какая-то цель или желание, не так ли?

— Да-да, конечно, есть.

— А чего именно вы хотите?

Снова молчание. Затем неуверенно и с усилием:

— Мы хотим быть… хотим стать… кем-то другими…

— Вот как? Кем же вы хотите быть?

Опять молчание. Глубокий вздох.

— Вы имеете в виду какие-либо должности?

— Нет-нет. Совсем не то.

— Вы не хотите быть подданными Мировой Империи?

— Нет, впрочем, пожалуй… нет, не совсем так.

Я был совсем сбит с толку. Но тут Каррек бесшумно подтянул к креслу длинные ноги, выпрямился и спросил резким тоном:

— Где вы встречались?

— Дома у одного… Я его не знаю.

— Где? И когда?

— В районе RQ две недели назад.

— Много вас было?

— Человек пятнадцать-двадцать.

— Ну тогда не так трудно все это проверить, — сказал Каррек, оборачиваясь к нам. — Вахтер должен быть в курсе дела.

И он продолжил допрос:

— У вас были пропуска? Наверное, фальшивые?

— Нет, почему же? Мой, по крайней мере, был настоящим.

— Ага, отлично! А о чем вы говорили?

Но тут даже Каррек ничего не добился. Ответ был сбивчивым и невнятным.

Нам пришлось отпустить этого бестолкового типа, тем более что и действие второй дозы уже кончалось. Чувствовал он себя неважно, но не стал особенно жаловаться. Конечно, он был обеспокоен, но не проявлял никакого отчаяния. И, по-моему, он испытывал не столько стыд, сколько удивление.

Когда он вышел, начальник полиции снова вытянулся во всю длину худого гибкого тела, глубоко вздохнул, словно проветривая легкие,

и сказал:

— Да, тут придется поработать. Он-то ничего не знает, но, может, его приятели знают больше. Мы проверим одного за другим, пока не доберемся до сути. А вдруг это настоящий заговор?

Он зажмурил глаза, и его жесткие черты разгладились, приобрели выражение покоя и довольства. Возможно, в ту минуту он подумал, что благодаря этой истории слава о нем разнесется по всей Империи. Впрочем, может быть, я и ошибаюсь. Мы с Карреком слишком разные люди, чтобы я мог судить о его потаенных помыслах.

— А сейчас, — продолжал Каррек, испытующе поглядывая то на меня, то на Риссена, — я должен ненадолго уехать. Может быть, и вас скоро вызовут в другое место. На всякий случай будьте готовы. Вызов может прийти и домой, и на работу. Советую собрать все необходимое и оставить в лаборатории, чтобы потом из-за этого не задерживаться. Вещей берите немного — если вы и уедете, то не больше чем на несколько дней. И снаряжение тоже держите в порядке. Не исключено, вам придется взять его с собой.

— А военная служба? — спросил Риссен.

— Ну если это дело у меня выйдет, то вам нечего беспокоиться, — ответил Каррек. — А не выйдет

так не выйдет, обещать ничего не могу. Чем вы собираетесь заниматься в ближайшие дни?

— Ставить новые и новые эксперименты.

— По-моему, необходимо ухватиться за ту нить, которую дал этот последний тип. Жертвы-добровольцы вам теперь ни к чему. Я предлагаю вам постепенно размотать этот клубок. Будете слушать и записывать. Ну как, согласны?

Риссен задумался.

— В наших инструкциях такие случаи не предусмотрены, — сказал он наконец.

Начальник полиции язвительно рассмеялся:

— Ну не будем бюрократами. Если вы получите предписание начальника лаборатории — как его там, Муили, кажется? — то не станете так педантично придерживаться инструкций, а? Я сейчас иду прямо к Муили. Потом сообщите все имена в управление полиции. Речь идет о безопасности Империи, а вы — инструкции!

Он вышел, и мы с Риссеном посмотрели друг на друга. Меня переполняли восхищение и радость победы. Такому человеку, как Каррек, можно спокойно вверить свою судьбу. Он имеет железную волю, его не страшат никакие трудности. Но Риссен только смиренно вздохнул:

— Мы становимся просто-напросто еще одним

бюро Департамента полиции. Прощай, наука!

Я невольно вздрогнул. Я любил свою научную работу и не хотел ее лишиться. Но я утешал себя тем, что Риссен вообще по натуре пессимист. Передо мной в тот момент встала моя лестница, только куда она вела? Это выяснится в ближайшем будущем.

Час спустя мы получили предписание начальника лаборатории, где было сказано, что отныне наша работа переходит под контроль Департамента полиции. Там уже все были предупреждены, и нам оставалось только позвонить и сообщить имена тех, кого следовало арестовать. Их должны доставить в течение суток.

Первым попал к нам юноша, лишь недавно покинувший Унгдомслэгер. Его отличало забавное сочетание неуверенности и заносчивости. То и дело он нападал на имперские порядки, к которым, видимо, не успел еще привыкнуть и приспособиться. Но его юношеская самонадеянность, проявившаяся под влиянием каллокаина во всей своей полноте, производила на нас, взрослых людей, скорее комическое впечатление. Он долго рассказывал о своих далекоидущих планах, но в то же время признался, что ему трудно ладить с окружающими, так как они, по его мне-

нию, плохо к нему относятся.

После того как наш предыдущий испытуемый оказался таким тугодумом, я предложил давать остальным выговариваться до конца. Но этот юноша был уж слишком словоохотлив, и вряд ли те проблемы, о которых он говорил, могли быть интересны Карреку. Я решительно перебил его, спросив, знаком ли он с предыдущим испытуемым.

— Да. Он мой сослуживец.

— А вне работы вы с ним где-нибудь встречались?

— Встречались. Он пригласил меня на вечеринку.

— В районе RQ? В среду, две недели назад?

Юноша засмеялся. Кажется, он готов был с радостью говорить и на эту тему.

— Ну да! Такая смешная вечеринка. Но мне понравилось. В каком-то смысле понравилось…

— Вы помните, что там было?

— Конечно, помню. Так странно. Во-первых, я ни с кем раньше не был знаком. То есть в этом-то как раз нет ничего странного. Если люди в свой свободный вечер уходят из дому и собираются вместе, так уж, наверное, чтобы обсудить какое-то дело, работу или еще что-нибудь — ну, скажем,

как лучше провести праздник или как написать прошение начальству, в общем, что-нибудь такое. И ничего удивительного нет. Но здесь-то совсем другое — они вообще ничего не обсуждали. Так, сидели и болтали обо всем на свете, а то и вовсе молчали. Иногда они так долго молчали, что я просто пугался. А знаете, как они здороваются? Берут друг друга за руку! Ну какой в этом смысл? Во-первых, негигиенично, а во-вторых, это же просто стыдно — нарочно дотрагиваться до тела другого человека. А они говорили, что таков старинный обычай и они только возобновили его, но если кто не хочет, то может и не делать. Они никого ни к чему не принуждают. Но вначале я их боялся. Нет ничего противнее, чем сидеть и молчать. Кажется, что другие видят тебя насквозь. Как будто ты совсем голый, нет, даже еще хуже, в моральном смысле голый — понимаете? Особенно когда кругом пожилые люди. Потому что они умеют так — разговаривают себе, а сами все за тобой замечают. Правда, я тоже так умею, это очень помогает. Чувствуешь себя спокойно, как будто избавился от большой опасности. Но там я так не мог — это не годилось, потому что если они говорили, то совсем тихо, и вид у них был такой, словно ни о чем другом они и не думают.

Вообще-то я считаю, что лучше разговаривать громко. Тогда уже никто не может сосредоточиться ни на чем другом, а ты говоришь и говоришь, а про себя думаешь что хочешь. Присутствующие там были такими странными. Но под конец мне там понравилось. Как-то спокойно мне стало, понимаете?

Все не слишком вразумительно. Но юноша принадлежал к числу новичков, его еще не успели посвятить ни в какие таинства. На всякий случай я спросил:

— Заметили вы там какого-нибудь руководителя? Были у них какие-либо знаки различия?

— Нет, как будто не было. Я не заметил.

— Ну а что они все-таки делали? Говорили о том, что уже совершили или что им предстоит совершить?

— Я ничего подобного не слышал. Правда, я и еще кое-кто ушли, не дождавшись конца, не знаю, что происходило потом. Но, прощаясь с нами, один сказал: «Теперь, когда мы встретимся в метро, мы узнаем друг друга». Он произнес это так торжественно, и, понимаете, я и вправду поверил, что узнаю их, не только тех, кого я в этот день видел, а вообще их. В них есть что-то особенное, а что — не могу объяснить. Вот когда

я вошел сюда, то сразу почувствовал, что вы (тут он кивнул в мою сторону) не принадлежите к ним, а вот насчет вас (его затуманенный взгляд обратился к Риссену) я не так уверен. Может быть, вы из их числа, а может, нет. Я только знаю, что с ними мне спокойнее, чем с другими. У меня нет такого чувства, что они хотят мне зла.

Я быстро взглянул на Риссена. Вид у него был совершенно озадаченный. Наверняка он никогда не принимал участия в каких-то тайных сборищах, но замечание юноши все же не лишено оснований. Он правильно угадал в Риссене индивидуалистические черты, нечто такое, что в моем представлении ассоциировалось со слепым кротом.

Придя в себя, юноша впал в полное отчаяние, хотя выболтанное им казалось безобидным. Впрочем, насколько я понял, его больше всего беспокоили излияния насчет собственной личности — те самые, что мы, соскучившись, решительно прервали.

— Хочется многие слова взять обратно, — бормотал он. Ноги его не держали, он шатался. — То, что я говорил насчет других, — неправда. Я просто хочу знать, как они ко мне относятся. Не думаю, что они желают мне зла. И насчет того, что я хочу

сделать и кем хочу стать, — чистые фантазии, тут нет ни капли правды. Говоря, что с теми странными людьми мне лучше, чем с обыкновенными, я преувеличивал. Хорошенько подумал и понял, что мне лучше с обычными…

— Мы тоже в этом не сомневаемся, — дружелюбно ответил Риссен. — В будущем вам лучше держаться обычных людей. Мы подозреваем, что сборища, на одно из которых вы случайно попали, представляют собою угрозу для Империи. Пока вы вне опасности, но будьте осторожны! А то не успеете оглянуться, как они вас запутают.

После этих слов юноша как ужаленный выскочил за дверь.

Не знаю, какие зловещие планы мы собирались разоблачить, но мы твердо верили, что после ухода юноши и еще нескольких человек со странной вечеринки какие-то планы там строились. И кто-то же должен при этом присутствовать! Мы подробно и основательно расспросили еще четверых задержанных, во всех деталях записывали их ответы, и облик таинственного союза мало-помалу начал вырисовываться перед нами. Не раз мы переглядывались и в недоумении качали головами: можно подумать, что речь идет о сборище сумасшедших — ничего более фантастического я

в жизни своей не слышал.

Прежде всего мы пытались узнать, что это за организация, насколько она велика, кто стоит во главе и т. д. Но каждый из испытуемых отвечал, что ни организации, ни руководства не существует, однако меня это не смущало. При подготовке крупного заговора второстепенные действующие лица нередко и понятия не имеют о планах Центра; все, что они знают, — имена двух-трех участников, играющих роль столь же незначительную, как они сами. Видимо, и к нам попали только мелкие сошки. Но мы не сомневались, что, прощупывая одного за другим, доберемся и до осведомленных кругов — это вопрос времени.

«Что же происходило после ухода новичков?» — этот вопрос мы без конца задавали себе. Кое-что нам все-таки удалось выяснить из показаний одной женщины.

— Один из нас берет нож, — рассказывала она, — передает его кому-нибудь другому, а сам ложится на кровать и делает вид, что спит.

— Ну а дальше что?

— Ничего. Если кто-нибудь еще хочет лечь и на кровати есть место, то он тоже ложится. Но это необязательно. Можно сесть и положить голову на край кровати или стола, в общем, все

равно чего.

Я с трудом подавил смех. Еще бы, сценка, которая представилась мне, производила весьма комическое впечатление. Один человек с серьезным видом сидит посреди комнаты, сжимая в руке большой столовый нож (конечно, столовый, откуда же возьмется какой-нибудь другой, — надо только не забыть оставить его, когда начнут убирать посуду), — значит, он сидит посреди комнаты, а кругом… Один вытянулся на постели, сложив руки на животе, и изо всех сил старается заснуть — может, даже пробует храпеть. Все остальные устраиваются поблизости кто как может, большей частью в неудобных позах. Кто-то еле удерживается на самом краю кровати, упираясь затылком в спинку, кто-то зевает, — и вот наступает мертвая тишина.

Даже Риссен не смог удержаться от улыбки.

— А какой в этом смысл? — спросил он.

— Символический. Передавая нож, один человек как бы отдает себя во власть другого. Но ему при этом нечего бояться, с ним не случится ничего плохого.

(Не случится ничего плохого! Когда в комнате полно народу и все притворно храпят, можно сколько угодно подсматривать друг за другом.

Когда один из гостей — кстати, по всем правилам зарегистрированный вахтером, — сжимает в руках тупой столовый нож, которым за ужином тщетно пытались резать мясо, и слушает, насколько естественно другие храпят…)

— Да, но с какой целью вы это делаете?

— Нашими усилиями будет вызван к жизни новый дух, — ответила женщина с полной серьезностью.

Риссен в задумчивости потер подбородок. Из лекции по истории я знал (и он, конечно, тоже), что в первобытные времена дикари нередко выкрикивали заклинания и производили так называемые магические действия, чтобы вызвать воображаемых существ, которых они называли духами. Так, значит, нечто подобное происходит и в наши дни?

От этой же особы мы услышали об одном умалишенном, который в их кругах слыл героем. Да, воистину иногда не много нужно, чтобы стать для кого-то идолом!

— Вы разве не слышали про Реора? — спросила женщина. — Нет, его уже нет в живых, он жил лет пятьдесят тому назад. Точно не знаю где: одни говорят, что в каком-то Городе Мукомолов, другие — что в одном из Текстильных. Подумать

только, вы ничего не знаете про Реора! А я могла бы говорить о нем без конца… Только об этом нужно беседовать с посвященными, они одни могут понять. Ну вот, он переходил из одного места в другое, тогда ведь с пропусками было проще… Некоторые впускали его в дома — больше из страха, думали, что он из полиции; другие прогоняли — считали преступником. Те, которые впускали, конечно, не все понимали, что он за человек, некоторым казалось, что он просто чудной, и все. Зато другие рядом с ним чувствовали себя как дети под защитой матери: им было хорошо и спокойно, они ничего не боялись. Кто-то о нем забыл, но многие помнили и рассказывали о нем другим. Но их понимали только посвященные. Он никогда не запирал свою дверь, делал что хотел и не думал, будут ли у него свидетели и сможет ли он потом что-то доказать. Он не защищался от воров и разбойников, и в конце концов его убили. Убил его разбойник, который думал, что у Реора в котомке лепешка, тогда были голодные времена. А у него ничего не осталось, он все разделил с людьми, которых встретил на дороге. Но убийца думал, что у него еще есть хлеб, и погубил его…

— И вы считаете, что этот Реор — великий человек? — спросил я.

— Да, великий. Он один из наших. Еще живы люди, которые встречались с ним.

Риссен многозначительно посмотрел на меня и покачал головой.

— Потрясающая логика, — сказал я, — его убили, поэтому давайте будем как он. Я ничего не понимаю.

Но Риссен, не обращая на мои слова никакого внимания, повернулся к женщине:

— Вы говорили о посвящении. Что вы под этим подразумеваете? Как это делается?

— Не знаю. Это приходит к каждому как-то само собой. Но другие посвященные тоже это замечают.

— Но любой может утверждать, что он посвященный. Наверное, существует все-таки определенный ритуал, вновь посвященному сообщают какие-то тайны, разве не так?

— Да нет, ничего такого. Я же говорю, человек это просто чувствует. К одним это приходит, а к другим — нет, вот и вся разница.

— А в чем это проявляется?

— Ну во всем… И в том, как это делают с ножом… все становится так ясно и хорошо… и во многом другом…

Да, этот разговор не очень-то обогатил нас. Мы

так и не разобрались, одна эта женщина сошла с ума или другие тоже помешались на той же почве. Из рассказов других явствовало, что процедура с ножом и притворным сном действительно имела место, но один раз, случайно, или они постоянно устраивали такие церемонии? Признаки легенды о Реоре проскальзывали в некоторых признаниях, но далеко не у всех. Мы не могли понять, что, собственно, их объединяло. Пока общим было только одно — они производили странное впечатление.

Зато другая женщина назвала нам несколько новых имен. И мы особенно настойчиво принялись расспрашивать ее о структуре организации. Но ее ответ оказался таким же невнятным и путаным, как у остальных.

— Организация? — переспросила она. — А зачем нам это? То, что живет, то, что естественно и органично, не нуждается ни в какой организации. Вам нужна форма, а нам — сущность. Вы строите общество, как кладете камни, по своему произволу, а потом так же разрушаете его. А наше сообщество — как дерево, оно растет изнутри. Мосты, соединяющие нас, вырастают сами, а у вас они искусственные, держатся на одном принуждении. Мы — носители жизни, а за вами стоит

мертвое, отжившее.

Речь женщины показалась мне не более чем бессмысленным набором слов, но все же произвела на меня впечатление. Может быть, из-за глубины и проникновенности ее голоса, невольно вызвавшего во мне дрожь? Или эта чужая женщина напомнила мне Линду, ведь и у нее, когда она чувствовала себя бодрой, а не измученной, тоже был глубокий и проникновенный голос. Вот бы Линда сидела сейчас здесь и с такой же страстностью раскрывала передо мной свой внутренний мир! Да, я надолго запомнил эту женщину и потом повторял в уме некоторые из произнесенных ею фраз, сам себя убеждая, что при всей бессмысленности они красиво звучат. Лишь долгое время спустя я начал догадываться об их значении. Но, думаю, уже тогда ее слова дали мне первое, еще смутное представление о том, почему они узнают друг друга в толпе и что это значит — входить в круг посвященных, которые не нуждаются ни в специальной организации, ни в знаках различия, ни в какой-либо официально признанной доктрине.

Когда женщина вышла, я сказал Риссену:

— Знаете, что мне пришло в голову? Мы с вами неправильно понимали слово «дух». Они,

очевидно, подразумевают под этим какую-то жизненную позицию, отношение к происходящему, что ли. А вам как кажется? Возможно, я не прав и слишком усложняю образ мысли этих умалишенных?

Его взгляд испугал меня. Он меня отлично понял, это я видел по его лицу, но одновременно видел и нечто другое. Сильная и страстная натура только что ушедшей женщины произвела на него еще большее впечатление, чем на меня. И я понял, что его взгляд и даже молчание увлекали меня на путь, куда честь и чувство долга запрещали вступать. И если я поддался чуждой, но притягательной силе лишь на мгновение, то Риссен, судя по всему, был уже целиком в ее власти. Недаром же юноша сказал, что Риссен мог бы принадлежать к этой таинственной секте сумасшедших. А разве сам я не ощущал постоянно, что от Риссена исходят угроза и опасность? Теперь я твердо знал, что в глубине души мы с ним враги.

Нам оставалось допросить последнего арестованного — пожилого человека с интеллигентным лицом. Мне было немного страшно: вдруг и в нем живет та же сила, что в женщине? Но, с другой стороны, скорее всего именно он мог знать какие-то важные детали, и, если повезет, мы наконец-то

получили бы показания, на основании которых всех членов секты можно осудить и отправить куда следует — к великому облегчению для меня и для многих других. Но едва он вошел и сел в кресло, как зазвонил внутренний телефон. Нас обоих — Риссена и меня — вызывали к Муили, начальнику лаборатории.

* * *

Кабинет Муили находился в другом здании, но нам не пришлось выходить на поверхность: миновав подземный переход и три ведущих вниз лестницы, мы очутились у дверей его приемной. Предъявили пропуска, и, после того как секретарь, позвонив по телефону, убедился, что нам действительно назначено явиться, нас провели к Муили. Секретарь, седой тощий человек болезненного вида, едва взглянул на нас. Его голос звучал тихо, словно ему трудно говорить, и тем не менее каждое предложение он произносил тоном приказа. Как видно, он вообще не привык слушать других, если только они не отвечали на его вопросы.

— Соратники Эдо Риссен и Лео Калль, вас временно отзывают, — начал он. — Работу, которую вы сейчас проводите, пока отложите. Вам дается час на сборы, потом полицейские проводят вас. От военно-полицейской службы вы временно освобождаетесь. Есть вопросы?

— Нет, мой шеф, — ответили мы с Риссеном одновременно.

Мы молча вышли, вернувшись к себе, помылись и переоделись в форму свободного времени. Дорожные сумки с личными вещами и ящик с лабораторными принадлежностями мы приготовили заранее. Через час пришли двое полицейских и, не говоря ни слова, повели нас в подземку.

Я не переставал восхищаться Карреком. Ничего не скажешь, дело двигалось быстро! И суток не прошло, а он уже добился своего. Как видно, его слово кое-что значило, и, думаю, не только в Четвертом Городе Химиков.

Выйдя из подземки, мы увидели перед собой ангар. Радостное предчувствие небывалых приключений охватило меня. Куда мы полетим? Может быть, в столицу? Я никогда не выезжал за пределы города и сейчас буквально сгорал от нетерпения.

Вместе с группой других пассажиров мы вошли в самолет, и полицейский тщательно запер, а потом запломбировал дверь. Когда рев моторов возвестил о том, что мы поднялись в воздух, я вытащил из сумки последний номер «Химического журнала». Риссен сделал то же самое. Но нам обоим было не до чтения. То и дело кто-нибудь из нас поднимал голову от книги и откидывался на спинку сиденья. Я, как ни старался, не мог

сдержать любопытства. На экране (в том числе и в настоящих движущихся фильмах) мне приходилось видеть желтые поля, зеленые луга и леса, стада коров и овец, так что причин для любопытства, строго говоря, у меня не должно быть. И все-таки приходилось подавлять в себе смешное детское желание — так хотелось, чтобы в самолете была хоть крохотная щелочка, через которую можно выглянуть наружу. Разумеется, совсем не в целях шпионажа, о нет, а просто так… Но я сознавал: это опасное желание. Конечно, я никогда не добился бы таких успехов в науке, если бы своего рода любопытство не влекло меня к тайнам материи, и все-таки… То же любопытство движет порой и дурными поступками, оно может привести к опасности, к преступлению. Мне захотелось узнать, приходится ли Риссену бороться с подобными наклонностями. А впрочем, разве он против чего-нибудь борется, с его-то расхлябанностью! Наверное, сидит сейчас и думает, что хорошо бы делать самолеты из стекла, и ему при этом ни капельки не стыдно. Да, уж такой это тип. Если бы я только мог применять каллокаин по собственному усмотрению!

В конце концов я задремал. Разбудил меня стюард, принесший ужин. Оказалось, летим мы

уже пять часов, но я сообразил, что значительная часть пути еще впереди, иначе нас не стали бы кормить. И правда, мы прилетели на место только через три часа. Зная скорость самолета, можно вычислить расстояние, но, к счастью, скорость сохранялась в тайне, хотя нетрудно догадаться, что она очень велика и расстояние тоже весьма большое. Направления полета мы не видели, в самолете скоро стало прохладно, но это свидетельствовало лишь о том, что мы находимся на большой высоте.

Наконец мы приземлились. На аэродроме нас встретила группа полицейских, которые должны были сопровождать всех вновь прибывших в город. Я сделал вывод, что у каждого из пассажиров есть важное служебное дело. Некоторые, возможно, прилетели по вызову, как мы с Риссеном. Нас провели на военно-полицейскую линию подземки. Поезд с огромной скоростью понесся к станции под названием «Дворец полиции». Скорее всего мы в столице. Через подземные ворота мы вошли в вестибюль, где наш багаж тщательно проверили, а нас самих подвергли личному обыску. После этого Риссену и мне отвели по маленькой, но вполне приличной комнатке, где нам предстояло переночевать.

* * *

Утром нас проводили в одну из столовых. Мы были, конечно, не единственными гостями Дворца полиции — в большом зале вокруг стола толпилось не меньше семидесяти мужчин и женщин разного возраста. Кто-то кивнул нам — это оказался Каррек, с тарелкой кукурузной каши он сидел неподалеку. Всех остальных мы видели впервые. Хотя по чину Каррек стоял много выше нас, мы очень обрадовались — как-никак знакомый, да и он, казалось, ничего не имел против нашего общества.

— Я уже просил министра полиции принять нас троих, — сказал он. — Думаю, что ждать придется недолго. Сходите, пожалуйста, за своим оборудованием как можно быстрее.

Я торопливо позавтракал и побежал к себе за ящиком. Но зря спешил — нам пришлось больше часа сидеть у дверей кабинета, где кроме нас аудиенции ожидали еще трое.

Однако первыми все-таки вызвали нас. Открылась дверь соседней комнаты, и в приемную вышел невысокий проворный человек, видимо

секретарь. Он что-то прошептал на ухо Карреку, и тот указал на нас. Мы прошли в другую комнату, где нас снова тщательно обыскали. Да, здесь правила безопасности соблюдались куда строже, чем в нашем Городе Химиков, но это и неудивительно, так как жизнь работавших здесь была драгоценнее, чем чья бы то ни было в Империи. И потому эту комнату, не говоря уже о самом кабинете министра полиции, постоянно охраняли полицейские с пистолетами наготове. Но вот нам разрешили войти в кабинет.

Грузный широкоплечий мужчина повернулся к нам вместе со стулом и в знак приветствия поднял кустистые брови. Он явно обрадовался приходу Каррека. Я сразу же узнал министра полиции Туарега, чью фотографию не раз видел в «Альбоме солдата», узнал его маленькие медвежьи глазки, мощную нижнюю челюсть, толстые губы. Да, я не раз видел его на фотографиях, и все же живой он произвел на меня едва ли не ошеломляющее впечатление. Вероятно, потому, что я видел олицетворение власти. В Туареге воплотился мозг, управлявший теми миллионами ушей и глаз, что ежедневно и еженощно улавливали самые тайные, самые сокровенные слова и поступки подданных Империи; в нем

сконцентрировалась воля, двигавшая миллионами рук, защищавших Империю, среди них были и мои. Стоя лицом к лицу с ним, я испытывал дрожь, словно был преступником! А ведь я не совершил ничего дурного, но откуда тогда это чувство неуверенности? Да все то же проклятое внушение: ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью, как говорил Риссен.

— Итак, наши новые помощники, — сказал Туарег, обращаясь к Каррeку. Затем он повернулся к нам: — Вы в состоянии провести парочку пробных опытов — где-то часа через два? На третьем этаже есть комната, которую мы обычно используем как лабораторию. Оборудование там не ахти какое, но, думаю, вам подойдет. Если понадобится что-нибудь еще, скажете персоналу. Подопытных мы вам предоставим.

Мы ответили, что рады продемонстрировать свои опыты. Аудиенция окончилась, и нас проводили в лабораторию. Для небольшой серии опытов оборудование там было вполне приличное.

Каррек тоже пошел с нами. Он уселся на край стола и принял столь свободную позу, что, будь это кто-то другой, она производила бы впечатле-

ние отвратительной расхлябанности.

— Ну, соратники, — спросил он после того, как мы внимательно осмотрели лабораторию, — выяснилось что-нибудь о таинственных сборищах?

Риссен, как мой руководитель, имел право — да, пожалуй, и был обязан — ответить первым. Но он отозвался не сразу.

— Я, со своей стороны, никак не могу назвать этих людей преступниками, — сказал он. — Немножко не в себе — это другое дело, но не преступники, нет.

До сих пор, — продолжил он после паузы, — нам вообще не приходилось сталкиваться с людьми, совершившими действительно противозаконные действия. Я не говорю о том человеке, который умолчал о проступке жены, якобы совершившей государственную измену, — мы ведь договорились с вами, что сейчас милосердие важнее правосудия, особенно если учесть, что в Службе жертв-добровольцев не хватает людей. А что касается этих несчастных, так они никакие не заговорщики, просто секта умалишенных. Да их даже и сектой не назовешь. Насколько я понимаю, у них нет ни организации, ни руководителей, ни регистрации членов, нет даже названия. Я не думаю, что их можно подвести

под закон о союзах, находящихся вне контроля Империи.

— А вы, оказывается, большой формалист, соратник Риссен, — отозвался Каррек, иронически сощурившись. — Любите рассуждать о том, что напечатано в инструкциях, что можно и чего нельзя подвести под закон… Как будто на свете нет ничего важнее типографской краски. Ну скажите, вы и в самом деле так думаете?

— Законы и инструкции пишутся для того, чтобы охранять нас, — хмуро возразил Риссен.

— Охранять кого, позвольте вас спросить? — взорвался Каррек. — Не Империю точно. Империи куда больше пользы от трезвых голов, которые в случае необходимости могут наплевать на эту самую типографскую краску…

Риссен молчал, но я чувствовал, что он не согласен. Наконец он сказал:

— Так или иначе опасности для Империи они не представляют. По-моему, можно отпустить арестованных и вообще оставить в покое эту компанию. У полиции и так полно хлопот с убийцами, ворами и клятвопреступниками.

И тут я почувствовал, что настало мое время. Сейчас, вот сию минуту я должен схватиться с ним.

— Мой шеф Каррек, — медленно начал я, упирая на каждое слово, — позвольте мне возразить. Хоть я и подчиненный, но не могу молчать. Эти таинственные сборища представляются мне отнюдь не такими невинными.

— Меня чрезвычайно интересует ваше мнение, — откликнулся Каррек. — Вы, видимо, считаете, что это союз или общество обычного типа?

— Я не собираюсь выискивать в законе подходящие параграфы, — продолжил я, — но ни минуты не сомневаюсь, что эти люди, все вместе и каждый в отдельности, представляют опасность для Империи. Я хочу задать вам один вопрос: считаете ли вы, что нашим соратникам следует изменить представления о жизни, свое мировоззрение? Поймите меня правильно: я убежден, что людям порой не хватает сознательности, от них нужно больше требовать, но пересмотр жизненных позиций — это ведь совсем другое дело! Разве призыв к такому пересмотру уже сам по себе не является оскорблением Империи и ее солдат? А именно это, несомненно, имела в виду одна из арестованных, когда говорила: «Нашими усилиями будет вызван к жизни новый дух». Сначала мы решили, что речь идет о самом

банальном суеверии — и это, разумеется, тоже скверно, но оказалось, что в действительности дело обстоит гораздо хуже.

— По-моему, вы преувеличиваете, — прервал меня Каррек. — Я по опыту знаю, что чем абстрактнее понятия, тем меньше вреда они приносят. Общие фразы можно употреблять и так и этак: сегодня им придается один смысл, завтра — прямо противоположный.

— Но мировоззрение — вещь отнюдь не абстрактная, — возразил я. — И я утверждаю, что интересы этих умалишенных противоречат интересам Империи. Это лучше всего видно из их собственных мифов о каком-то Реоре, которого они почитают, потому что он был еще более сумасшедший, чем все они. Снисходительность к преступникам, небрежное отношение к собственной безопасности (ведь нельзя же забывать, что человек — это самый важный и дорогостоящий инструмент!), чувство личной привязанности, превышающее любовь к Империи, вот к чему они призывают нас! На первый взгляд их обряды просто безобидная чепуха. Но только на первый взгляд. Безграничное доверие между людьми — пусть лишь между определенными — уже это, по моему мнению, представляет опасность

для Империи. Слишком легковерный рано или поздно закончит как этот самый Реор, которого убили разбойники. Разве на этой основе выросла Империя? Если бы ее фундаментом служило людское доверие, Империя вообще бы не возникла. Священная и необходимая основа существования Империи — это взаимное и обоснованное недоверие друг к другу. Тот, кто ставит под сомнение необходимость этого недоверия, тот ставит под сомнение сами принципы, на которых базируется Империя.

— Уф! — с неожиданной горячностью воскликнул Риссен. — Но ведь были же причины экономического и культурного характера.

— Я о них прекрасно помню. И не думайте, пожалуйста, будто я исхожу из интеллигентского предрассудка о том, что Империя существует для нас, а не мы для Империи. Я только хочу сказать, что отношение каждого отдельного индивидуума к Империи определяется двумя моментами: материальными потребностями и интересами собственной безопасности. Если мы вдруг заметим, я не говорю, что мы уже заметили, я говорю, если это когда-нибудь случится, так вот, если мы заметим, что наш гороховый суп стал жиже, мыло никуда не годится, а дом вот-вот обвалится

и никто не хочет взяться и все это наладить, разве мы станем проявлять недовольство? Нет, мы знаем, что благосостояние не есть самоцель и наши жертвы приносятся во имя высшего смысла. Если в один прекрасный день мы обнаружим, что наши дома обнесены колючей проволокой, неужели мы станем жаловаться на ограничение свободы передвижения? Нет, ибо мы знаем, что это делается для блага Империи. И если когда-нибудь нам придется поступиться свободным временем ради необходимой военной подготовки или отказаться от приобретения излишних знаний, чтобы иметь возможность получить профессию для работы в какой-то самой важной в данный момент отрасли, — разве мы станем роптать? Нет и еще раз нет! Мы полностью сознаем и одобряем тот факт, что Империя — это все, отдельная личность — ничто. Мы принимаем и одобряем мысль, что если отбросить технические знания, то значительная часть так называемой культуры — это не более чем предмет роскоши, пригодный лишь для тех времен, когда никто и ничто не будет угрожать нам, если только эти времена вообще когда-нибудь наступят. Простое поддержание человеческого существования и неустанно развивающиеся военно-полицейские

функции — вот суть жизни Империи. Все остальное — побочные продукты.

Риссен молчал, на его лице застыло мрачное выражение. Ему нечего было возразить на мои не слишком оригинальные высказывания, но я был уверен — и наслаждался сознанием этого, что его штатская интеллигентская душа изнывает от раздражения.

Между тем Каррек резкими шагами ходил взад и вперед по комнате. Кажется, он, к моему огорчению, слушал не особенно внимательно. Когда я закончил, он сказал нетерпеливо:

— Да-да, все это прекрасно. Но, насколько мне известно, полиции пока еще не приходилось иметь дела с духами. До сих пор они считались сверхъестественными существами, и их никто не трогал. Одно дело, когда люди за ужином болтают что-нибудь неподходящее или удирают с официального праздника, но духи… Нет уж, увольте!..

— До сих пор у нас не было средств для борьбы с ними, — вставил я, — каллокаин дает возможность контролировать мысли и чувства.

Но и в эти слова он, по-моему, не очень-то вник и только весьма недружелюбно отозвался:

— Этак кого угодно можно засадить.

И вдруг он остановился, словно смысл собствен-

ных слов не сразу дошел до него.

— Этак кого угодно можно засадить, — повторил он, на сей раз тихо и очень медленно. — Может быть, вы не так уж не правы… не так уж не правы…

— Но ведь вы сами говорите, мой шеф, — в ужасе воскликнул Риссен, — что так кого угодно…

Но Каррек не слушал его. Он снова ходил взад и вперед по комнате, и его узкие прищуренные глаза смотрели прямо и непреклонно.

Желая помочь ему, я, хотя и со стыдом, рассказал о выговоре, который получил от Седьмой канцелярии Департамента пропаганды. Это его явно заинтересовало.

— Вы говорите, Седьмая канцелярия Департамента пропаганды? — повторил он. — Это любопытно. Это в высшей степени любопытно.

Прошло еще сколько-то времени. В комнате было тихо, только поскрипывали подметки без устали ходившего Каррека да доносился иногда отдаленный шум метро, а из соседней комнаты слышались слабые звуки голосов. Наконец он остановился, прикрыл глаза и произнес медленно и раздельно, словно взвешивая каждое слово:

— Позвольте мне быть совершенно откровенным. Если мы наладим хорошие связи с Седьмой

канцелярией, то сумеем провести закон о преступных помыслах.

Насколько я помню, в тот момент у меня было лишь одно желание — помочь Карреку, оказать ему услугу. А может быть, — сейчас уже трудно сказать, — меня тогда уже захватил его грандиозный план, о котором я вначале и не помышлял.

Между тем он продолжал:

— Я пошлю одного из вас, лучше того, кто умеет хорошо и убедительно говорить, в Седьмую канцелярию. Мне самому ввиду некоторых обстоятельств туда ходить не стоит… Как, соратник Калль, вы справитесь? Впрочем, я сначала спрошу руководителя. Можно Каллю поручить это дело?

Немного поколебавшись, Риссен ответил:

— Да, можно. Безусловно.

Но говорил он с явной неохотой. В этот момент он впервые открыто проявил свою неприязнь ко мне.

— Тогда давайте поговорим с глазу на глаз, соратник Калль.

Мы прошли в мою комнату, и тут он без всякого стеснения прикрыл «ухо полиции» подушкой. Должно быть, на моем лице отразилось недоумение, потому что он рассмеялся:

— Я ведь сам начальник полиции. А если дело

выгорит, тогда держись, Туарег…

И как я ни восхищался им, даже этой последней его дерзостью, мне стало немного неприятно, что он проявляет такое рвение не столько из принципиальных соображений, сколько ради карьеры.

— Ну вот, — продолжал он, — вам нужно придумать, о чем бы вы могли побеседовать с Лаврис из Седьмой канцелярии. Ну хоть об этом выговоре, но только чтобы связать его с вашим открытием. А потом вы мимоходом — только учтите, именно мимоходом, потому что законодательство не входит в компетенцию Седьмой канцелярии, — вы упомянете, какое значение имел бы этот наш новый закон, ваш и мой… Я вам скажу, в чем тут дело: Лаврис имеет влияние на министра юстиции Тачо.

— Так не проще ли обратиться прямо к нему?

— Из этого ничего не выйдет. Даже если бы у вас было какое-то важное дело помимо нашего проекта, вы попали бы к нему не раньше чем через несколько недель. А ведь вы нужны у себя в городе, вам нельзя так долго отсутствовать. Если же идти только с проектом, то вас скорее всего вообще не пустят: кто вы такой, чтобы изменять законы? Индивид подчиняется законам, но не отменяет и не придумывает их. А вот если бы за

это дело взялась Лаврис… Но ее нужно заинтересовать. Как вам кажется, вы сумеете?

— Ну не удастся так не удастся, — сказал я, — риска-то нет никакого.

Но в глубине души я был уверен, что мне все удастся. Наконец-то я дождался дела, где смогу проявить все свои способности и умение. Каррек, видимо, догадывался о том, что творилось у меня внутри. Испытующе взглянув на меня прищуренными, как всегда, глазами, он сказал:

— Ладно, идите! Пропуск и рекомендации получите завтра. А пока возвращайтесь к работе.

* * *

Мы сидели и ждали Туарега. Когда привыкнешь к тому, что все твое время строго расписано и ты твердо знаешь, что должен делать в любую минуту дня и ночи, такое пустое времяпрепровождение кажется особенно мучительным. Но все на свете, даже самое худшее, имеет конец. Туарег пришел, и мы начали работу. Я никогда не подумал бы, что мне понадобится столько выдержки, чтобы унять дрожь в руках, когда небритый верзила — первый из испытуемых — закатал рукав, обнажив локтевой сгиб. Оттого, что маленькие медвежьи глазки Туарега буквально впивались мне в затылок, я чувствовал себя так, словно это мне сейчас делают укол. Но все прошло хорошо. Хотя вначале испытуемый, мучительно напрягаясь, с трудом подбирал слова (что вызвало улыбку у министра полиции и тем несколько разрядило обстановку), в конце он не только полностью признался в том преступлении, в котором его обвиняли (хотя и не могли вынести окончательного приговора за недостатком улик), но и рассказал о других своих

проступках, совершенных в одиночку или вместе с сообщниками. Глазом не моргнув, он выложил все имена и детали. У Туарега даже ноздри раздулись от удовольствия.

Один за другим входили испытуемые. Мы с Риссеном по очереди делали уколы, секретарь министра вел протокол. Для большей наглядности нам время от времени подсовывали невинных людей. Я хочу сказать «невинных» лишь в том смысле, что они не преступали закона, ибо в другом, более общем значении это слово, к явному удовольствию Туарега, отнюдь нельзя было применить ни к одному из них. После того как за весьма короткий срок мы таким образом допросили шестерых, министр полиции поднялся и сказал, что вполне удовлетворен. Он добавил, что отныне наш метод должен заменить все другие способы расследования преступлений по всей Мировой Империи. Нас он собирался оставить в столице еще на два-три дня, чтобы мы могли подготовить себе на смену нескольких специалистов. По возвращении домой нам предписывалось в широких масштабах наладить производство каллокаина и одновременно обучить делу его применения других. Туарег ушел в прекрасном расположении духа, а к нам в лабораторию

вскоре явилось примерно два десятка человек, которых мы должны были проинструктировать.

Перед дверью лаборатории выстроилась длинная очередь испытуемых — преступники, привезенные сюда прямо из мест предварительного заключения.

На следующий день меня вызвал к себе Каррек. Он велел временно передать всю работу Риссену, а мне вручил целую пачку разных пропусков, удостоверений и рекомендации для Департамента пропаганды.

Я совсем забыл рассказать, что все-таки написал ходатайство о проведении пропагандистской кампании в связи с новым набором в Службу жертв-добровольцев. Я носил его в разные учреждения в нашем Городе Химиков и за несколько дней собрал массу подписей. Теперь это ходатайство было у меня с собой — я хотел лично представить его в Департамент пропаганды. На всякий случай я сообщил об этом Карреку, и он дал мне много полезных советов. Моих рекомендаций должно было хватить и для Третьей канцелярии, ведавшей подобными кампаниями. Итак, вскоре я уже выходил из подземки у массивных ворот Департамента пропаганды.

Нужно сказать, что еще с утра я чувствовал

недомогание, и полицейский врач напичкал меня всяческими лекарствами. Видимо, от этого мне было не по себе, и я в страшном возбуждении ждал разговора с руководительницей Седьмой канцелярии Лаврис. В сущности, я пришел сюда не по собственной инициативе, а по поручению Каррека, ибо это он непонятно почему был особенно заинтересован в проведении нового закона. Но в этом экзальтированном состоянии я испытывал странное ощущение: словно бы я оказался здесь не по приказу Каррека и не по собственному желанию, а подчиняясь какой-то неодолимой силе, которая управляла ростом и развитием нашей великой Империи, приближая ее к окончательному совершенству. И мне, ничтожной частице могучего целого, к тому же порядком отравленной всякими порошками и каплями, предстояло начать оздоровительную работу, которая должна очистить организм Империи от вредных примесей и ядов, занесенных преступными помыслами. Когда меня после бесконечных формальностей, личного обыска и долгого ожидания пригласили в приемную Лаврис, у меня появилось такое чувство, будто я иду навстречу собственному очищению и вернусь успокоенный и полностью освобожденный от

той наносной мути, которая мне так противна, но все-таки нет-нет да и оседала где-то в темных углах моего сознания и которая раз и навсегда была теперь связана для меня с именем Риссена.

Кабинет Лаврис ничем не отличался от сотен других, и только по фигурам часовых, которые постоянно несли вахту так же, как в кабинете министра полиции, можно было догадаться, что тут находится святилище имперской власти. Я глубоко вздохнул, в висках у меня застучало. Передо мной за письменным столом сидела высокая женщина с тонкой шеей, с застывшей на лице гримасой иронии — Калипсо Лаврис.

Даже если бы я мог определить ее возраст, даже если бы она не сидела неподвижно, как изваяние древнего божества, все равно в моем лихорадочном состоянии я воспринял бы ее как некое почти сверхъестественное существо, начисто лишенное человеческих слабостей. Даже большой прыщ, вскочивший у нее на левой стороне носа и ныне достигший полной зрелости, не мог в моих глазах свести ее на грешную землю. Она олицетворяла высшую этическую инстанцию Империи или, по крайней мере, ведущую силу той высшей этической инстанции, которой являлась Седьмая канцелярия Департамента пропаганды! На ее ли-

це нельзя было прочесть никаких личных чувств, как у Туарега, неподвижность не таила скрытого напряжения Каррека — в ней воплотилась только кристально чистая логика, лишенная каких бы то ни было примесей и несовершенств, свойственных отдельным личностям. Все это подсказало мне в тот момент возбужденное воображение, но я думаю, что созданный мною образ более или менее соответствовал действительности.

Итак, я не мог прямо говорить о введении нового закона, потому что официально Седьмая канцелярия не занималась такими делами. Но я был уверен, что найду выход, так как то, что я хотел предложить, необходимо для спасения Империи, для спасения меня самого.

К счастью, я сообразил, что мой визит можно связать с недавно полученным письмом. Пока посылали за моей карточкой, хранящейся в тайной картотеке полиции, мне пришлось не меньше двух часов просидеть в маленькой приемной рядом с кабинетом. «Ничего, — думал я, — нужно научиться и этому, нужно научиться ждать». И вот эти два часа миновали. Да и то сказать, карточка была доставлена сравнительно быстро, ведь картотека всех жителей Мировой Империи должна была занимать огромную площадь! Я,

правда, никогда не видел эту картотеку, но представлял себе, что путь от входа до того места, где стоит моя карточка, отнимет, по крайней мере, час — и соответственно столько же придется идти обратно. На поиски уйдет немного времени, потому что картотека, безусловно, содержится в идеальном порядке, но надо еще учесть, что она находится наверняка не в здании Департамента пропаганды, а во Дворце полиции, так что двухчасовое ожидание — это не так уж много.

Когда меня снова вызвали в кабинет, Лаврис изучала мою карточку, то есть она только называется карточкой, на деле это целая переплетенная тетрадь, на столе лежали еще какие-то бумаги, очевидно, имеющие отношение к письму Департамента пропаганды. Лаврис, видимо, уже забыла эту историю, да и неудивительно, поскольку у Седьмой канцелярии достаточно работы с более важными донесениями и прочими проблемами, возникавшими во всех уголках Империи.

— Итак, — сказала Лаврис высоким, лишенным оттенков голосом, — я прочла вашу карту. Тут сказано, что вы уже послали заявку на выступление в «Часе покаяний», но ваша очередь еще не подошла. Чего вы, собственно, хотите?

— На меня произвели глубокое впечатление

слова «Разоблачение страдающих раздвоенностью есть долг каждого преданного Империи солдата», — сказал я. — И вот я даже сделал открытие, которое даст возможность разоблачать их систематически и более основательно, чем раньше.

И я рассказал о каллокаине, вложив в свои слова всю силу убеждения, на которую был способен.

— Теперь, — закончил я, — на очереди введение нового закона, который по глубине содержания превзойдет все, какие до сих пор знала история, — закона, карающего преступные мысли и чувства. Может быть, он появится не сразу, но появится непременно.

Она молчала. Тогда я решил пустить в ход те слова, что подействовали на Каррека.

— Под этот закон можно подвести кого угодно, — сказал я и после паузы добавил: — Я имею в виду, разумеется, только тех, кто в своих мыслях недостаточно лоялен.

Лаврис не произнесла ни слова. Казалось, лицо ее застыло еще больше. Вдруг она протянула вперед крупную красивую руку, осторожно взяла двумя пальцами карандаш и медленно стала сжимать его, пока кожа на суставах не побелела.

Потом она подняла на меня глаза и спросила:

— У вас все, соратник?

— Да, все, — ответил я, — я лишь хотел обратить внимание Седьмой канцелярии на открытие, благодаря которому можно обнаружить предосудительную внутреннюю раздвоенность, даже если она еще не успела привести к нарушению закона. Прошу прощения, если я напрасно побеспокоил вас.

— Седьмая канцелярия благодарит вас за добрые намерения, — ответила она бесстрастно.

Я попрощался и вышел, исполненный, как и прежде, возбуждения и одновременно всяческих сомнений.

Когда я со своими списками дошел до дверей Третьей канцелярии, раздался сигнал, возвещавший конец рабочего дня, и меня едва не сбили с ног выскочившие из комнаты служащие. Только один пожилой человек с кислым лицом еще сидел над какими-то расчетами, и мне ничего не оставалось, как обратиться к нему. Он поморщился, но, увидев мои рекомендации, взял списки и просмотрел их.

— Вы говорите, тысяча двести человек? Все научные работники? Жаль, что вы пришли так поздно. То, что вы предлагаете, уже осуществля-

ется. Мы получили подобные же прошения, по крайней мере, из семи Городов Химиков, некоторые пришли еще месяцев восемь тому назад. Подготовка к пропагандистской кампании идет полным ходом.

— Очень рад, — ответил я, слегка разочарованный тем, что не смогу лично принять участие в этом почетном деле.

— Следовательно, вам тут больше нечего делать, — заключил мой собеседник, снова склоняясь над колонками цифр.

— Но разве мне нельзя посидеть где-нибудь в уголке? — воскликнул я. Сам не знаю, откуда взялась во мне эта смелость, наверное, от того же лихорадочного возбуждения. — Вы же видели, насколько я заинтересован в этом деле, так почему же мне нельзя принять участие в подготовке самой кампании? У меня такие рекомендации, посмотрите, вот… вот… и вот…

Одним глазом глядя в свои цифры, он другим покосился на мои рекомендации, потом с глубоким вздохом посмотрел вслед последнему из уходящих сотрудников, однако отказать мне не решился. Наконец он принял решение, которое скорее всего было связано с наименьшей потерей времени.

— Я вам дам пропуск, — сказал он.

Затем быстро вставил в машинку листок бумаги, отпечатал несколько строк, поставил внизу большую печать Третьей канцелярии и протянул листок мне.

— Дворец кино, приходите в восемь вечера. Не знаю, что там у них сегодня, но что-нибудь да будет. С этой бумагой вас пропустят. Меня, правда, никто не знает, но тут есть печать. Ну что, довольны теперь? Надеюсь, я не сделал ничего предосудительного…

* * *

Но то, что он сделал, в конечном итоге все-таки оказалось предосудительным. Лишь спустя несколько дней я понял, что по правилам меня нельзя допускать во Дворец кино. Требовалась совсем иная подготовка, может быть, даже иной характер образования, чтобы избежать потрясения, которое я тогда получил. Вероятно, если бы я обратился со своей просьбой к компетентному лицу, мне наверняка отказали бы. Разумеется, тут сыграло роль и мое лихорадочное состояние, но так или иначе впечатления, испытанные в тот вечер, надолго оставили во мне след.

Пребывание в мире возвышенных принципов оказалось для меня кратковременным. Непроницаемая холодность Лаврис поколебала мою убежденность и веру в себя. Кто я, собственно, такой, чтобы строить великие планы спасения Империи? Больной и усталый человек, слишком больной и усталый, чтобы искать прибежища у безупречно функционирующего воплощения этических принципов, наделенного высоким, лишенным оттенков голосом. Лаврис должна

иметь глубокий материнский голос, как у той женщины из секты умалишенных, а еще должна уметь утешать, как Линда, то есть быть самой обыкновенной женщиной.

Когда я в состоянии усталой полудремы додумался до этого, сон с меня как рукой сняло, и я торопливо выскочил из вагона подземки. Бумага со штампом Третьей канцелярии, которую дал мне медлительный чиновник, служила вместо пропуска, и вскоре я, сам толком не зная как, очутился у подземных дверей, ведущих во Дворец кино. В столице все имперские учреждения имели подземный вход, и мне за все время пребывания тут ни разу не удалось выбраться на свежий воздух.

Когда я во внезапном порыве попросил у чиновника разрешения посидеть где-нибудь в уголке, мне почему-то представлялось, что я буду смотреть, как снимается фильм. Это и интересно, и в моем состоянии просто приятно спокойно посидеть где-нибудь на более или менее удобном месте в качестве рядового зрителя. Но я ошибся. Комната, куда я попал, представляла собою обычный лекционный зал. Не было ни прожекторов, ни кулис, около сотни слушателей в форме свободного времени сидели на скамьях. При входе

меня спросили, кто я и откуда, внимательно проверили документы и проводили к одной из задних скамеек.

Начались приветственные речи. Я понял, что собравшиеся пришли сюда, чтобы предварительно обсудить ряд сценариев, произвести первоначальный отбор и наметить направления дальнейшей работы. Тут были представлены различные учреждения: канцелярии Департамента пропаганды, лидеры деятелей искусства, Департамент здравоохранения. От Службы жертв-добровольцев никто не пришел, что, впрочем, меня не удивило. Появился основной докладчик, как я догадался, психолог по специальности. Когда он вышел на трибуну, я так и впился в него глазами. У нас в Городе Химиков не было психологов, если не считать нескольких консультантов в Унгдомслэгере и психотехников, проводивших пробы при распределении молодежи по разным специальностям.

Дин Какумита был небольшого роста и хрупкого сложения, с блестящими черными волосами. Он говорил, сопровождая свои слова отлично рассчитанными жестами. К сожалению, я не могу воспроизвести его речь дословно, так как многое ускользнуло из моей памяти. Но основное

содержание я помню хорошо.

— Соратники! — начал он. — Как вы видите, передо мной лежит огромная пачка рукописей — всего их триста семьдесят две. Разумеется, я не могу остановиться на каждой в отдельности; те, кому будет предложено участвовать в дальнейшей разработке, надеюсь, извинят меня. (Смех в зале: разумеется, никто из этих халтурщиков, представивших абсолютно сырой материал, не был приглашен для дальнейшей квалифицированной работы.) Вместо этого я хочу привести ряд критических замечаний и указаний общего характера, которые вам следует положить в основу вашей деятельности.

Прежде всего я позволю себе разделить эти истории на две основные группы: с так называемым счастливым концом и, соответственно, с несчастливым. Так как задача фильмов — привлекать людей в Службу жертв-добровольцев, то можно подумать, что наиболее целесообразны ленты со счастливым концом. Но в действительности дело обстоит вовсе не так — сейчас я докажу это. Для кого притягательны такие фильмы? Для лиц слабых и вялых, для тех, кто больше всего боится боли и смерти, а ведь мы обращаемся не к ним. Психологические исследования свидетельству-

ют о том, что лишь очень небольшая, все время уменьшающаяся часть сотрудников Службы вербуется из людей подобного типа. Когда они видят счастливый конец, забывают содержание фильма. Приходят домой и спокойно ложатся спать, убежденные, что теперь герою и героине обеспечено благополучие. Такие не запишутся в Службу жертв-добровольцев. Я не против фильмов со счастливым концом, но они не годятся для периода кампании. Их можно показывать в другое время, чтобы бодрить и успокоить родных и друзей наших жертв-добровольцев. Пусть люди смотрят и вспоминают своих близких, быть может, погибших на этой работе. Не нужно только демонстрировать эти фильмы один за другим, а так пусть себе идут, и пусть в них будет не только счастливый конец, но и хорошая доля юмора, смешные эпизоды, трогательные — только не героические — ситуации. Тут нужно сказать, что многие сценарии имеют один общий недостаток: в них смешиваются настроения, допустимые лишь в период между кампаниями, и настроения, которые желательно культивировать именно во время проведения кампаний.

В качестве наиболее действенных зарекомендовали себя как раз фильмы с так называемым

несчастливым концом. Я говорю «с так называемым», ибо вопрос о том, что считать счастьем, а что несчастьем для отдельной личности — это вопрос не только чисто субъективный, но и лишенный всякого смысла, так как, строго говоря, ничто не должно рассматриваться с точки зрения отдельно взятого индивида. В общем, я имел в виду фильмы, заканчивающиеся смертью героя. Мы можем при всех обстоятельствах рассчитывать на определенный процент наших соратников, которые почтут такой исход высшим счастьем, особенно если гибель героя идет на благо Империи. Именно из людей подобного типа в основном вербуются сотрудники Службы, и я имею все основания надеяться — я еще вернусь к этому позже, — что теперь у нас появится особенно много таких сотрудников. Нужно лишь пробудить наклонности людей и развить их в должном направлении.

Большое значение имеет то, каким именно образом герой погибает. Смерть должна быть красивой. Прежде всего следует тщательно избегать изображения таких болезней, в которых есть что-то смешное или унижающее. Показывать состояние, когда человек превращается в развалину, когда он не может владеть собой и

сохранять чувство собственного достоинства, когда он не в силах элементарно обслужить себя, сейчас совершенно недопустимо! В фильмах, предназначенных для периодов между кампаниями, пожалуйста! И притом со счастливым концом и упором на комическую сторону. Но страдания, которые привлекают подлинных героев, должны: а) достойно выглядеть; б) быть целесообразными.

Стремление чувствовать и осознавать свое «я» исключительно как инструмент для достижения высшей цели есть движущая сила всей жизни тех героических натур, о которых я говорил. Никто не может всерьез считать, что его жизнь представляет ценность сама по себе. Когда мы говорим о ценности жизни, мы не имеем в виду жизнь той или иной личности. Разве мы посмеем сказать, что хоть один день, один час нашей жизни представляет собой ценность сам по себе? Никогда! И я утверждаю, что каждый индивид, ощущая ничтожность собственного существования, неизбежно приходит к осознанию господствующих над всем требований Высшей Цели. Страдающий в фильме герой должен добиться наглядного результата — его гибель должна спасти не одного человека, ибо тот и сам мог бы себя спасти! — не

небольшое количество людей, а тысячи, миллионы, может быть, всех солдат Империи!

Под целесообразностью в изображении страданий я подразумеваю вот что: герой во что бы то ни стало должен одержать победу. Дело совсем не в том, чтобы в конце он непременно пожинал лавры — это только снизит уровень фильма и не произведет надлежащего впечатления на людей, обладающих подлинно подвижнической натурой. Нет, герой должен восторжествовать над собственной слабостью. Пусть он столкнется с негодяем с эгоистическими замашками, легко поддающимся соблазнам и пасующим перед болью и смертью. Грубый и вульгарный, урод или вылощенный красавчик, слабый и недисциплинированный, трусливый и распущенный — пусть везде и во всем он будет противопоставлен главному герою. Только не надо ничего утрировать! Пусть образ негодяя будет как бы предупреждением, напоминанием для чуткой совести: а я не похож на него? Боязнь оказаться трусливым, бесчестным, внутренне убогим играет огромную роль для тех героических натур, о которых я говорил и на которых мы, проводя нашу пропагандистскую кампанию, должны рассчитывать прежде всего.

Лишь очень немногие из сценариев отвечают этим строгим требованиям. В дальнейшем мы сделаем следующее: разделим весь материал на части по числу отделов нашей студии, затем рассортируем его и отберем то, что годится, и постараемся улучшить и отшлифовать. Через две недели эта работа должна быть закончена, и тогда мы встретимся снова и обсудим результаты. А теперь благодарю за внимание и предлагаю приступить к обсуждению.

Он сошел с трибуны. Надо сказать, что у меня испортилось настроение, сам не знаю почему. Конечно, все собравшиеся не видели ничего плохого в том, что докладчик говорил о своих соратниках как квалифицированный техник о хитроумных механизмах; больше того, каждый из сидевших в зале наверняка хотел оказаться на его месте. То ли по причине лихорадочного состояния, то ли просто так, но я чрезвычайно отчетливо вспомнил своего первого испытуемого № 135 и единственный великий час его жизни, из-за которого так ему завидовал. Я мог сколько угодно презирать этого человека, мог дурно обращаться с ним в мыслях или на деле, но до тех пор, пока завидовал ему, я не мог относиться к нему как к машине.

Началось обсуждение. Некоторые указывали на то, что в большинстве фильмов герои должны быть молодыми, чтобы привлечь юношей и девушек, но не потому, что Служба жертв-добровольцев предпочитала молодых работников. Статистика свидетельствовала о том, что все сотрудники Службы, как правило, могли функционировать определенное число лет, независимо от того, в каком возрасте они поступали на эту работу. Следовательно, Империи даже выгодно, если бы тот или иной солдат сначала потрудился в другой области, а уж потом отработал несколько лет в Службе. Но тут следовало учесть другой момент: молодые легче поддавались воздействию. Супружество и активная трудовая жизнь, как правило, не способствовали переходу в Службу.

Конечно, нельзя забывать, что среди лиц любого возраста и профессии всегда найдутся те, кто не знает, чего хочет; так называемое счастье и так называемая жизнь не удовлетворяют их, и они вечно рвутся к новым ощущениям. Но именно юных, как ни заботятся о них в лагерях, чаще всего постигают разочарование и одиночество, пожалуй, даже опасное одиночество, и поэтому юных следует привлекать в первую очередь.

Следующий оратор согласился с этим утвержде-

нием и добавил, что делать ставку на молодежь стоит еще и по другой причине: так как после каждой умело проведенной кампании заявления из Унгдомслэгера идут буквально потоком, то имеется возможность делать выбор. Опрометчиво забирать в Службу всех желающих, ибо среди них может оказаться немало одаренных юношей и девушек, которых куда уместнее использовать в другой области. Отсюда следовало, что нельзя набирать добровольцев слишком юного возраста, так как вопрос о профессиональной пригодности человека решается не раньше чем в пятнадцать-шестнадцать лет.

Новый выступающий возразил, что нередко способности бывают ярко выражены уже у восьмилетнего ребенка и, следовательно, в Службу жертв-добровольцев можно записывать с восьми лет, а в связи с этим неплохо снять несколько фильмов специально для детей.

Но следующий оратор заявил, что в восемь лет талант проявляется чрезвычайно редко, кроме того, попытка привлечь детей едва ли даст значительные результаты, вероятно, нельзя будет даже покрыть расходы по производству фильмов. Высказывались и другие возражения, например, что дети, которые выразят желание записаться в

Службу, уже не смогут получить образование. Надо также учитывать, что подлинно героические наклонности могут проявиться лишь в зрелом возрасте.

Еще один выступавший говорил о том, что фильмы нужно выпускать один за другим, чтобы не было больших промежутков. При вербовке не следует оказывать давления, да оно и не потребуется. Иной раз момент внезапности играет большую роль и оказывает такое же действие, как применение силы. Человека неожиданно ставят перед выбором: теперь или никогда — если ты не сделаешь того-то и того-то в отведенный тебе срок, потом будет поздно. Страх, который так часто возникает у людей в критические моменты жизни, усиливается, если они вынуждены делать мгновенный выбор, но при правильно поставленной пропаганде именно наличие этого страха может привести к благоприятным результатам.

Эту мысль развил новый участник обсуждения. Он отметил, что страх, который действительно время от времени появляется буквально у каждого, вполне может быть обращен на пользу Империи. Необходимо только, чтобы в дело вмешался опытный психолог. Когда страх предшествует окончательному решению, он не может

навредить, если само решение представляется неизбежным. Человек осознает, что не может поступить иначе, и уже это приносит ему огромное облегчение, а восторг первых добровольцев тем более вызывает желание идти за ними. Не следует умалять значение таких переживаний — они могут привлечь гораздо больше людей, чем если относиться к ним с пренебрежением. Нет смысла требовать, чтобы желающие завербовывались на всю жизнь, даже принятый сейчас десятилетний срок слишком велик, его следует снизить до пяти лет, и никто от этого не пострадает. Все равно через пять лет у сотрудников Службы уже не остается ни сил, ни возможностей для перехода на другую работу. При правильно поставленной пропаганде можно обойтись без применения силы и тем самым избежать сопротивления.

Не забывайте, что я был нездоров. Иначе просто невозможно объяснить, почему я вдруг встал и попросил слова. № 135 по-прежнему не выходил у меня из головы. Когда он сидел передо мной, я делал все, чтобы унизить его, но теперь мне захотелось выступить в его защиту.

— Позвольте мне сделать одно замечание, — начал я медленно и неуверенно. — У меня такое впечатление, что вы относитесь к вашим со-

ратникам как к своего рода механизмам, и это, на мой взгляд, свидетельствует… о недостатке уважения…

Мой голос прервался, и я ощутил головокружение. Кажется, я не в состоянии был говорить связно.

— Ни в коем случае! — резко и нетерпеливо воскликнул один из предыдущих ораторов. — Что за инсинуации! Никто не может с бóльшим уважением относиться к героическим натурам! Как будто я не знаю, насколько они необходимы Империи! Я, который столько лет жизни посвятил изучению именно этого типа людей! Неужели я стал бы заниматься этим, если бы искренне не ценил их? И вдруг являетесь вы и говорите о недостатке уважения!

— Да-да, — сказал я смущенно, — уважения к результату… но… но…

— Но что? — воскликнул мой противник. — Что вы имеете в виду?

— Ничего, — тихо сказал я, садясь на место. — Вы правы, я ошибся и прошу извинения.

Я вытер пот со лба. Хорошо, что вовремя остановился. А правда, что я хотел сказать? «У вас недостает уважения к № 135. К этому жалкому человеку, скрывающему под маской благопри-

стойности черты эгоизма и индивидуализма»? Я начал бояться самого себя.

Нет, не самого себя — мне приходилось защищаться вовсе не от собственной натуры: это был не я — это был Риссен.

Опасность, которой чудом удалось избежать, так потрясла меня, что долгое время я не мог сосредоточиться на том, что происходит вокруг. Когда я пришел в себя, на трибуне снова стоял Дин Какумита. Он, видимо, говорил уже давно.

— Этих, так сказать, пассивных героических натур сейчас требуется в имперской действительности все больше и больше. Они нужны не только в Службе жертв-добровольцев, но и в других учреждениях в качестве рядовых сотрудников, они нужны для того, чтобы рожать и поставлять Империи детей. Особенно велика потребность в них в военное время, когда каждый из наших соратников должен перейти в этот разряд. Разумеется, всем должно быть ясно, что такие личности нежелательны на руководящих постах, где требуются трезвый ум, деловитость, решительность и сила. Вопрос следует поставить так: каким образом при необходимости можно увеличить количество этих людей, принадлежа-

щих к благороднейшему человеческому типу, этих одиноких и отважных героических душ, разочарованных в жизни и готовых на смерть и страдания? Итак…

И тут я почувствовал себя настолько скверно, что решил уйти. Поскольку я чужой и не являюсь официальным участником дискуссии, меня должны свободно выпустить. Стараясь ступать как можно тише, я стал пробираться к двери. Там я показал вахтеру документы и шепотом начал объяснять, как я сюда попал, но меня прервал внезапно появившийся у дверей высокий смуглолицый мужчина в военно-полицейской форме. Судя по нашивкам на рукаве, он состоял в весьма высоком чине. Видимо, у него имелись основания явиться так поздно. После проверки документов вахтер не только пропустил его, но и проводил в зал, я же без помех выскользнул в коридор. Затем я услышал из зала низкий и твердый голос вновь пришедшего, однако слов не разобрал, потом в зале поднялся шум. Вахтер вернулся на место, и я, не удержавшись, спросил его, в чем дело.

— Шшш, — прошептал он, оглянувшись по сторонам, — ну ладно, соратник, раз вы еще не ушли, я так скажу: производство пропагандистских фильмов для Службы жертв-добровольцев пре-

кращается. Все силы будут брошены на другое. Вы понимаете, что это значит, и я тоже, но никто не имеет права понимать это до конца…

Говорить так — уже значило понимать до конца, но я слишком устал и, не ответив ему ни слова, поспешил в лифт. Однако он был прав — я отлично сознавал, что это значит: Мировая Империя находилась на пороге новой войны.

* * *

Я утолил свою жажду приключений. В столице мне пришлось испытать столько разнообразных впечатлений: решающее испытание каллокаина в присутствии Туарега, визит в Седьмую канцелярию и, наконец, дискуссия о фильмах, к которой я внутренне не был подготовлен. Да, не был подготовлен, это нужно сказать прямо, и мне становилось стыдно всякий раз, как я вспоминал свой нелепый выпад. Казалось бы, теперь, когда я полностью осознал всю неправильность своего поведения, можно было и успокоиться. Впервые в жизни я услышал такую ясную, деловитую и объективную оценку качеств и возможностей наших соратников, так почему же меня не покидало ощущение, что все те колоссальные усилия, свидетелем которых я был, предпринимаются ради никчемной цели? Я понимал, что это ложный и нездоровый взгляд, и всеми возможными аргументами пытался сам себя опровергнуть. Но для той пустоты, которая все росла и росла во мне, я не находил иного слова, кроме как «бессмысленность».

«А что будет, — думал я с ужасом, — если какой-нибудь шутник-полицейский или даже Риссен в один прекрасный день заберет из моих рук шприц и сделает укол мне самому? Легко представить, что скажет о моем душевном состоянии Седьмая канцелярия. Уж наверное, Риссен охотно воспользовался бы возможностью разоблачить меня и лишний раз найти подтверждение любимой идеи о том, что “ни один подданный старше сорока лет не может похвастаться чистой совестью”. Разве не к этому он все время стремился? И вообще, не он ли своими коварными замечаниями вызвал у меня эти недостойные мысли? Он представляет явную опасность — и для меня, и для других». Но страшнее всего было думать о том, насколько он сумел опутать Линду и не готовят ли они заговор против меня.

Все эти опасения жили во мне как бы подспудно — я был слишком занят, чтобы уделять им много времени. Туарег уже отдал приказ о применении каллокаина во время следствия и судопроизводства, и теперь в наш город со всей Мировой Империи съехалась масса народу — все участники курсов, которые нам поручено было открыть. Нас с Риссеном передали на время, как было сказано, в распоряжение полицейского управления,

и нам пришлось перебраться туда. Каррек велел направлять всех арестованных прямо в наши аудитории — таким образом можно было и провести следствие, и дать курсантам возможность попрактиковаться. На занятиях всегда присутствовал в качестве судьи какой-нибудь офицер высокого ранга, протоколы вели полицейский секретарь или кто-либо из курсантов.

Вскоре стало ясно, что работы у нас непочатый край. На курсы пришлось принять гораздо больше людей, чем планировалось, да еще оставались желающие, которые ждали своей очереди. Подследственных мы пропускали буквально в бешеном темпе, даже обеденный перерыв пришлось сократить до получаса, и все равно мы не успевали. Работа судов всегда была засекреченной, и я не мог сравнить нынешнюю ситуацию с прежними временами. Но меня поразило обилие ложных обвинений или, если выразиться мягче, обвинений, сделанных по пустякам. Курсанты десятками вопросов буквально выворачивали каждого подследственного наизнанку, а между тем вина его, с точки зрения суда, часто оказывалась столь смехотворно малой, что невольно возникали сомнения в необходимости данной процедуры. К тому же нам не хватало каллока-

ина, который пока еще производился только в лабораторных условиях.

Однажды у нас возникла дискуссия во время обеденного перерыва. (Риссену, мне и курсантам предоставили несколько длинных столов в помещении, где питался вспомогательный персонал полицейского управления.) Как всегда, утро у нас прошло в дикой спешке, воздух в помещении был еще жарче и влажнее, чем обычно, и вдобавок несколько вентиляторов на нашем этаже испортилось. Кто-то начал возмущаться большим количеством необоснованных доносов.

— В течение последних двадцати лет число доносов неуклонно возрастает, — сказал Риссен. — Я это слышал от самого начальника полиции.

— Но это не означает роста преступности, — возразил я. — Увеличились лояльность и преданность наших соратников, их нетерпимость ко всему, что недостойно…

— Увеличился страх, — отрезал Риссен с неожиданной энергией.

— Страх?

— Да, страх. Мы живем под все более строгим контролем, но это порождает у нас не чувство уверенности, как мы надеялись, а боязнь. Вместе с боязнью растет стремление наносить удары

тем, кто окружает нас. Общеизвестно, что, когда дикий зверь, ощущая опасность, видит, что ему некуда скрыться, он бросается в нападение. Когда страх обволакивает нас, не остается ничего другого, как нанести первый удар. Ах как трудно, если не знаешь, куда бить… Но недаром пословица гласит, что лучше быть молотом, чем наковальней. Если ты ударишь сильно и вовремя, то, может быть, сам спасешься. Есть старая легенда о фехтовальщике, который был настолько искусен, что выходил сухим из-под дождя: он так быстро размахивал шпагой, что ни одна капля не успевала упасть на него. Вот так же нужно уметь фехтовать и нам, живущим в эпоху великого страха.

— Вы говорите так, словно каждый непременно должен что-то скрывать, — начал я, но сам почувствовал, как неубедительно звучат мои слова.

Я не хотел верить ему, но перед моими глазами внезапно предстала картина, которая буквально ужаснула меня. А вдруг он все-таки прав? И если мой визит к Лаврис возымел действие, если теперь не только слова и поступки, но также мысли и чувства будут подвергаться судебному преследованию, тогда… тогда… Как копошащиеся муравьи, все наши соратники придут в движение, но не для того, чтобы помогать себе подобным,

а для того, чтобы наносить друг другу удары. Я видел, как работающие вместе доносят один на другого, как мужья пишут доносы на жен и жены на мужей, подчиненные обвиняют начальников, а начальники — подчиненных. Риссен не прав. Я ненавидел его за то, что он обладал какой-то непонятной способностью внушать мне свои мысли. Но я успокоился, когда подумал, кто именно первым подпадет под действие нового закона.

Через несколько дней пришел новый приказ Каррека. В соответствии с ним все следственные дела (и обучение курсантов) передавались Риссену. Ему должны были помогать самые способные из учеников. Мне же предписывалось возглавить новые курсы по подготовке специалистов, которым предстояло наладить производство каллокаина в широких масштабах.

Я понимал, что это необходимо, и, с одной стороны, даже радовался возможности снова вернуться к химии. Но с другой — чувствовал некоторое раздражение и разочарование. Однако вот что произошло в дальнейшем.

Среди наших испытуемых все еще находился тот пожилой человек из секты умалишенных, о котором я уже упоминал и которого мы не успели допросить из-за отъезда в столицу. Потом он

долго болел, и, когда выздоровел, меня как раз направили на вновь организованные курсы, то есть я уже не мог присутствовать при допросе. Жалость, которую я почувствовал по этому поводу, удивила и даже испугала меня. Я пытался понять, в чем тут дело. Может быть, я надеялся испытать нечто подобное тому, что при разговоре с женщиной из этой секты, которая произвела на меня столь глубокое впечатление, что меня вновь потянуло к тем же опасным ощущениям? Но мне самому не хотелось верить в такие унизительные мотивы. Прежде всего я должен был согласно приказу Каррека распутать этот клубок и узнать, что скрывалось за безумствами членов секты. Судя по интеллигентной внешности пожилого человека, он мог быть посвящен в тайны этой группы глубже, чем кто-либо другой. Мне хотелось присутствовать на его допросе еще и потому, что я подозревал Риссена в тайной симпатии к нему. Таким образом, говорил я сам себе, мой интерес чисто негативного характера — точно так же, как интерес к Риссену. И я решил непременно выяснить все подробности этого дела.

— Если разрешите, я хотел бы узнать, проводилось ли следствие по делу того пожилого человека? — спросил я на другой день Риссена.

— Да, сегодня, — сухо ответил он.

— Ну и как? Выяснилось что-нибудь противозаконное?

— Его приговорили к каторжным работам.

— За что?

— Нашли, что он настроен враждебно к Империи.

Больше ничего я от него добиться не смог. Но можно было еще прочесть протокол допроса.

— А вот этого я не могу ни позволить, ни запретить, — сказал Риссен. — Это дело полиции.

Я позвонил Карреку, и он тут же разрешил. В первый свободный вечер я отправился в полицейское управление, где меня уже ждал Риссен с ключами от сейфа. Он вручил мне протокол, который вел кто-то из курсантов (полицейский протокол хранился в другом месте). Но и этот протокол, как я заметил, был достаточно подробен. Я понял, что должен прочитать его здесь же. Риссен с какой-то работой сидел поблизости, и я догадался, что он намеревается давать мне пояснения, которых я вовсе не хотел слушать.

Однако, начав читать, я передумал: раз уж он все равно тут, отчего бы не расспросить его.

— Кое-что мне не совсем понятно, — начал я. — Вот, например, «испытуемый начал вос-

производить странные песни». Что это значит? Почему их сочли странными?

— Странные, и все тут, — ответил Риссен. — Я никогда не слышал ничего подобного. Какие-то неясные слова, одни сравнения, картины… А уж мелодии! Не представляю, как под них можно маршировать. Но они произвели на меня такое впечатление, такое… как ничто в мире.

Голос Риссена задрожал, и внезапно я почувствовал, что захватившее его чувство как бы передалось мне. Я ни за что не должен был приходить сюда! Я уже получил первое предупреждение, когда услышал проникновенный голос женщины, говорившей о мертвом и живом, — голос, который до сих пор звучал для меня как воплощение гармонии и покоя. И сейчас я опять словно наяву услыхал его, и одна мысль поразила меня. Какая чудовищная несправедливость, какое дьявольское коварство таится в том, что разъедающая душу зараза распространяется не только сама по себе, но и через третье лицо: я не слышал, как пел тот человек, но его мелодии, эхом прозвучав в голосе Риссена, подействовали и на меня.

— А вы не можете дать мне хоть какое-нибудь представление о его песнях? — допытывался

я. — Не можете их повторить?

Он покачал головой:

— Нет, они для нас слишком чужды. Они просто ошеломили меня.

Прочитав еще несколько страниц, я все-таки сделал попытку избавиться от ненавистного влияния.

— Вы сами должны признать, что здесь есть преступные мотивы, — сказал я Риссену. — Насколько я знаю, распространение любых сведений и даже слухов, связанных с информацией географического характера, карается по закону. А вот посмотрите: разрушенный город в недоступном месте! Неизвестный город в пустыне! Насколько я понимаю, испытуемый не смог уточнить его местонахождение, но говорить вслух даже такие вещи!..

— Кто знает, существует ли он на самом деле, этот город в пустыне, — отозвался Риссен. — Если верить испытуемому, он известен лишь избранным, некоторые из них якобы жили среди руин. Может быть, это только легенда.

— Ну тогда это вредная легенда, потому что в ней содержатся географические сведения! Если такой город действительно существует и ведет начало со времен, предшествовавших Великой

войне и возникновению Мировой Империи, если все его население на самом деле погибло от бомб, газа и бактерий, как же может кто бы то ни было жить там, даже сумасшедшие? Если бы это место было пригодно для жилья, Империя давно завладела бы им!

— А вы читайте дальше, — ответил Риссен. — Там сказано, что в этом городе и вокруг полно опасностей: от песка и камней поднимаются ядовитые испарения, в расщелинах живут колонии бактерий — словом, буквально каждый шаг грозит опасностью. Но зато там встречаются чистые родники, сохранилась и нетронутая почва, где можно возделывать съедобные растения. Немногочисленным жителям известны безопасные дороги и убежища, эти люди не знают раздоров и помогают друг другу.

— Вижу-вижу. Жалкая жизнь, полная неуверенности и страха. Но эта легенда весьма поучительна. Только такой, в постоянной тревоге и опасности, может быть жизнь людей, которые уходят из-под влияния великой связующей силы — Империи.

Он ничего не ответил. Я продолжал читать и в одном месте невольно вздохнул и покачал головой.

— Опять легенда. Опять история о том, чего нет на свете. Остатки мертвой культуры! В этой отравленной газами дыре они якобы сохранили остатки культуры от времени еще до Великой войны. Но ведь такой культуры не существует!

Риссен резко повернулся ко мне.

— Почему вы так уверены в этом? — спросил он.

Я удивленно взглянул на него:

— Это мы учили еще в детстве. То, что мы называем культурой, не могло существовать в цивильно-индивидуалистическую эпоху. Вспомните, что характерно для того периода — борьба одиночек и отдельных общественных групп друг против друга. Могучие силы, умелые руки, замечательные умы вдруг по чьему-то произволу выключаются из работы и общественной жизни. Противник лишает их всего, и они погибают, неиспользованные, без смысла… О какой культуре тут может идти речь? Это же просто джунгли.

— Согласен, — серьезно ответил Риссен. — И все-таки, все-таки… Разве нельзя представить, что где-то, пусть даже в джунглях, сохранился подземный источник, иссякающий, никому не известный, но чистый?

— Культура — это государственная жизнь, —

ответил я кратко.

Но слова Риссена разожгли мою фантазию. Раньше я воображал, что буду читать этот протокол глазами критика, своего рода контролера, а получилось совсем иначе. Я жадно вчитывался в каждое слово, пытаясь понять, как войти в неведомый мне мир. Но мне это не удавалось.

Одно место в протоколе буквально заставило меня вздрогнуть. Это снова легенда — о том, что какое-то племя в соседней стране якобы состоит в родстве с населением одного из пограничных районов Мировой Империи.

Я отодвинул протокол в сторону.

— Ну это уж слишком! — Мой голос дрожал от справедливого негодования. — Это и аморально, и антинаучно.

— Антинаучно? — рассеянно повторил Риссен.

— Да, именно антинаучно! Разве вам неизвестно, мой шеф, что наши биологи сейчас полностью установили истину: народы Мировой Империи и племена, живущие по ту сторону границы, принадлежат к совершенно разным расам. Они отличаются друг от друга, как день от ночи, так что еще неизвестно, можно ли вообще называть жителей соседней страны людьми.

— Я не биолог, — уклончиво ответил Риссен. —

Мне об этом не приходилось слышать.

— Ну так я рад случаю сообщить вам это. А то, что вся эта история аморальна, ясно и так. Кстати, не исключена возможность того, что появление этой секты помешанных со всеми их преданиями, обычаями и мировоззрением — лишь очередная попытка соседнего государства подорвать нашу безопасность. Может быть, это только маленькая частица той сети шпионажа, которой они, безусловно, опутывают нас.

Риссен долго молчал. Потом сказал:

— Его осудили в основном за эту историю.

— Меня удивляет, почему его не приговорили к смерти.

— Он был крупным специалистом по производству красок, а в этой отрасли людей всегда не хватает.

Я не ответил. Я прекрасно понимал, что его симпатии на стороне преступника. Но не смог удержаться от небольшой колкости:

— Скажите, мой шеф, разве вы не довольны тем, что мы, наконец, добрались до сути дела и знаем теперь, что представляет собой наша любимая секта?

— Я полагаю, что быть довольным есть долг каждого честного солдата, — ответил он с иро-

нией, которая, возможно, и не предназначалась для меня. — И позвольте задать вам встречный вопрос, соратник Калль: вы вполне уверены, что в душе не завидуете жителям этого отравленного газом города в пустыне?

— Которого не существует, — ответил я со смехом.

Может быть, Риссен вовсе не так уж умен? Если это шутка, то весьма скверная.

И все-таки его вопрос задел меня. Долгое время спустя он причинил мне боль, как многие другие его слова, как сдерживаемая дрожь в его голосе, как весь он — одновременно смешной и коварный, глубоко штатский человек.

Всеми силами я старался забыть о городе в пустыне, не только потому, что его не существовало в природе, но и потому, что сама мысль о нем казалась мне отвратительной… отвратительной и влекущей одновременно. Против воли я готов был поверить в существование города, лежащего в развалинах, отравленного газом и микробами, города, чьи обитатели — жалкие разобщенные индивиды, вечно подстерегаемые смертью, — в страхе и тревоге пробираются между камнями в поисках ненадежного убежища. Но при этом на город не простирается власть Империи. Так что

же влекло меня? «Предрассудки вообще обладают притягательной силой, — думал я с горькой иронией. — Человек дорожит ими, как шкатулкой, куда сложены все его сокровища, — воспоминание о прочувствованных словах женщины и дрожи в голосе мужчины, мечта о так и не наступившем часе безоглядной преданности, надежда на полное доверие, покой и утоление жажды».

Любопытство по-прежнему мучило меня. Я не смел расспрашивать Риссена о дальнейшей судьбе секты умалишенных, чтобы он не вообразил, будто я испытываю к ним какую-то симпатию. Единственное, на что я мог решиться, — отпускать краткие иронические реплики за обеденным столом. Он отвечал на них тоже коротко и хмуро. Я сказал, например:

— Этот самый никому не ведомый город в пустыне — он, видимо, находится на Луне? На Земле его пока что не обнаружили?

Он ответил:

— По крайней мере, до сих пор его местонахождение не установлено.

Быстро подняв глаза, я поймал его взгляд. Только на секунду, потому что он тут же отвернулся, но я успел прочесть в его глазах мучивший меня вопрос: «А вы вполне уверены, что не завидуете

жителям этого отравленного газом города в пустыне?» Он, конечно, хотел, чтобы я завидовал. Он хотел, чтобы я первый проявил инициативу, а сам все время нападал, вынуждая меня к капитуляции. Я проклинал свое чрезмерное любопытство.

Случайно мне удалось узнать еще кое-что, на этот раз не от Риссена. Одна слушательница курсов рассказала, что кто-то из арестованных упоминал о рукописях — толстых пачках бумаги со значками, которые якобы передавали звуки музыки, но не имели ничего общего с нашими буквами. Больше всего они напоминали условные изображения птиц в клетке. Воспроизвести эти мелодии не мог никто — даже, кажется, обитатели города в пустыне, хотя у них будто бы сохранились какие-то книги или сборники давно прошедших времен. Я ни минуты не сомневался, что если все это не обман и на листах и правда записана музыка, то лишь самая примитивная и варварская. И все-таки у меня зародилась безумная мечта — хоть раз услышать эту музыку. Неразумное, бессмысленное желание, которое никогда не осуществится, — я сознавал это. Но даже если эта музыка и прозвучит, что мне это даст? Разве можно в каких-то маршах найти объ-

яснение, ключ к решению целой проблемы?

Все это время моя семейная жизнь была пустой и бесцветной. Мы с Линдой так отдалились друг от друга, что пытаться достичь взаимопонимания было бесполезно. К счастью, оба были заняты и виделись очень редко.

* * *

Прошло несколько дней, и в один из свободных вечеров меня пригласил к себе Каррек.

Сидя в подземке с пропуском в кармане, я чувствовал, что отдыхаю. Каррек был одной из опор моего существования. В нем я никогда не ощущал того опасного для окружающих внутреннего нездоровья, которое отпугивало меня в Риссене.

Каррек принял меня в спальне, его жена сидела в это время в общей комнате и читала при свете ночника. Детей у них не было. В комнате, как и у нас, стоял полумрак (последнее время электроэнергию экономили), и я лишь смутно видел лицо Каррека, но в его движениях угадывалось что-то необычное, и это обеспокоило меня. Он ни минуты не мог высидеть на месте, то и дело вскакивал и начинал ходить. Шаги его были слишком велики для такой маленькой комнаты, и иногда он даже стукался коленями об стену, словно хотел столкнуть с пути препятствие.

Когда он заговорил, я почувствовал в его голосе необычное оживление — он был чем-то взбудоражен и не скрывал этого.

— Ну, что вы скажете? — начал он. — Нам с вами повезло. Лаврис, должно быть, уговорила Тачо — он подписал закон об антиимперском складе характера. Закон вступает в силу с завтрашнего дня. Вот теперь начнется!

Услышав, что это действительно случилось и что роковой день так близок, я чуть не лишился дара речи. Каррек радовался, а у меня дрожали губы, и мне пришлось сделать огромное усилие, чтобы взять себя в руки.

— А хорошо ли все это продумано, мой шеф? Иногда мне кажется, что лучше бы ничего не было. Поймите меня правильно, это из чисто практических соображений. Просто уже сейчас на свет вылезло столько грязи, что мы и ее-то не успеваем убирать, хотя каждый день работаем сверхурочно. Нет-нет, я понимаю, станет гораздо легче, когда нам будут помогать все курсанты. Но поступит множество новых доносов. Не можем же мы отправить на каторгу две трети населения!

— А почему бы и нет? — весело сказал он и стукнулся коленями об стену. — Не вижу особой разницы, да и фонд заработной платы сразу уменьшится. Но, если говорить серьезно, уже поступила жалоба от начальника городского финансового управления, и боюсь, то же самое

будет везде. Из финансовых соображений мы должны очень внимательно подходить к доносам и делать строгий отбор. Аресты следует производить только на основании подробных и четко обоснованных письменных заявлений. Это раз. Далее — в первую очередь мы займемся наиболее видными лицами, так как прежде всего — безопасность Империи. За мелкую сошку возьмемся уже потом, а всякие там грабежи и убийства на почве личной мести пойдут в последнюю очередь. Отбор, отбор и еще раз отбор! Но что говорить, конечно, работы хватит.

Он снова стал быстро ходить по комнате и вдруг разразился характерным отрывистым и презрительным смехом.

— Никому не удастся уйти, — сказал он.

Сейчас он стоял так, что свет лампы отражался в его зрачках. Освещенное снизу, его лицо внушало страх, и мои нервы напряглись до предела. Я весь похолодел, заглянув в его ягуарьи глаза — они были до жути близко и в то же время страшно далеко, не подвластные ничьей воле. Больше для того, чтобы успокоить себя, спросил:

— Я надеюсь, вы не считаете, что у всех кругом совесть нечиста?

— Совесть нечиста? — повторил он и снова

резко захохотал. — Да какая разница — чиста или нечиста! Как бы тихо они ни сидели в своих норах, все равно никому не удастся уйти.

— Вы имеете в виду уйти от доноса?

— Я имею в виду от доноса и суда. Вы понимаете, соратник, — он склонился надо мной, и я так и сжался на стуле, колени у меня затряслись, — вы понимаете, как это важно, чтобы были соответствующие консультанты и соответствующий судья. К счастью, у нас есть специалисты по всем отраслям. Приговор должен иметь смысл. Одно дело — неисправимые, которых бесполезно отправлять на перевоспитание, другое — всякие дурачки с устаревшими взглядами. С этими надо поступать осмотрительно, вы сами знаете, что из-за низкой рождаемости у нас постоянно не хватает рабочей силы. Но, как я уже говорил, тут большее поле деятельности для тех, кто знает, чего хочет. Все устроится, если найдется соответствующий судья.

Надо сказать, я не совсем понял, к чему он клонит, но спрашивать мне не хотелось. Я только кивнул с серьезным видом и продолжал смотреть, как он быстро ходит по комнате.

Молчание уже стало тягостным. Каррек, видимо, ждал моих высказываний. Его слова о

различных мерах наказания напомнили мне о том, о чем я действительно хотел поговорить с ним.

— Мой шеф, — начал я, — есть одна вещь, которая меня удивляет и о которой я хочу рассказать вам. Несколько дней тому назад было проведено следствие по делу заговорщика, принадлежащего к опасной секте умалишенных. Он распространял не только запрещенные географические сведения, но и порочные измышления о том, что существа, живущие в соседней стране, якобы состоят в родстве с населением одного из наших пограничных районов. Он исполнял песни антиимперского характера. Его приговорили к каторжным работам. Может быть, в данном конкретном случае это и правильно — дело закончено, и я не собираюсь критиковать приговор, но достаточно ли хорошо его продумали в чисто принципиальном смысле? Каторжник так или иначе приходит в соприкосновение с большим количеством людей — с конвоирами, с другими заключенными. Одни из них находятся на каторге дольше, другие меньше, многие снова выходят на свободу. Разве можно упускать из виду тот вред, который приносят окружающим люди, подобные тому, о ком я сейчас говорю?

Конечно, особенно разглагольствовать ему там не удастся, это так. Но знаете, мой шеф, только не смейтесь надо мной, я обнаружил одну вещь — заметил, что некоторые личности одним только фактом своего существования могут оказывать сильное влияние на других. Потому они опасны и тогда, когда молчат, даже их взгляды, движения источают яд и заразу. И вот я спрашиваю себя: правильно ли, что подобному индивиду сохраняют жизнь? Я прекрасно знаю, что у нас плохо с рождаемостью. Но даже если этого человека можно использовать в какой-то важной отрасли, неужели выгода от его работы превысит тот вред, который он принесет Империи?

Каррек не засмеялся, но и не проявил удивления. Когда я закончил, на его лице промелькнуло нечто вроде сдержанной усмешки. Он остановился и сел на стул напротив меня. В его неподвижности я вновь почувствовал напряжение готовящегося к прыжку зверя.

— Не стоит ходить вокруг да около, дорогой соратник, — произнес он тихо и медленно. — Я и сам отнюдь не в восторге от сложившейся ныне ситуации: действительно, с очень многими нашими соратниками совершенно незаслуженно церемонятся только потому, что кривая

рождаемости не хочет расти. Несмотря на всю пропаганду, наши достижения в супружеской постели все еще весьма скромны. Но что мы можем поделать? В общем и принципиальном смысле дело обстоит именно так. Но за общим и принципиальным всегда стоит частное и конкретное. Так кого вы желали бы приговорить к смерти?

Я готов был провалиться сквозь землю. Его цинизм ужаснул меня. Я говорил не только о Риссене, я ставил вопрос вообще, в целом! Хорошенького же он был обо мне мнения!

— Вы очень помогли мне тем, что поговорили с Лаврис, — продолжал между тем Каррек. — Я придерживаюсь правила «Услуга за услугу», тогда, по крайней мере, твердо знаешь, на кого можешь рассчитывать. Вы обладаете интеллектом совсем иного типа, чем я, — тут он снова рассмеялся, — поэтому мы можем быть полезны друг другу. Отвечайте спокойно: кого бы вам хотелось отправить на тот свет?

Но я не мог ответить. До сих пор мои желания были фантастическими и неопределенными. Прежде чем начать действовать, я должен еще раз обдумать все трезво и тщательно.

— Нет-нет, — сказал я, — это общие соображения. Просто мне не раз приходилось встречать

таких, фигурально выражаясь, бациллоносителей, и вот я подумал…

Я остановился. Может быть, и так уже сказано слишком много? Каррек продолжал сидеть неподвижно, и я весь сжался под взглядом его зеленых глаз. Но вот он снова вскочил и стукнулся коленями об стену.

— Я вижу, вы не хотите. Боитесь меня. Я ничего не имею против — бойтесь на здоровье, но я все же постараюсь вам помочь. Когда надумаете послать донос или доносы, уж как захотите, только не забудьте, они должны быть хорошо обоснованы, это теперь первое условие, и предварительный отбор произвожу не я, так вот, в этом случае поставьте в углу вот такой знак (он нарисовал что-то на листе бумаги и протянул мне), и я сделаю все, что смогу. Я уже говорил, это не так уж сложно, если имеешь дело с соответствующим судьей. А такие у нас есть. Соответствующий судья и соответствующие консультанты. Я буду держать вас в поле зрения и думаю, что смогу еще вам пригодиться, хоть вы и боитесь меня.

* * *

Я всегда неважно спал по ночам, но в последнее время бессонница меня совсем замучила. Месячной порции снотворного хватало мне теперь меньше чем на две недели, я до последней крупинки подбирал даже то, что оставалось у Линды. Обращаться к врачу я не хотел, поскольку тогда в моей тайной карте мог бы появиться штамп «Нервный субъект», а в такой характеристике хорошего мало, не говоря уже о том, что она совершенно не соответствует действительности. Я считал себя обычным, нормальным человеком, и моя бессонница тоже вполне естественна и объяснима, наоборот, странно и дико, если бы в такой ситуации я ухитрялся спокойно спать по ночам…

Однако мои сны ясно свидетельствовали о том, что мне отнюдь не хотелось испытать действие собственного препарата. Не раз я просыпался весь в холодном поту после очередного кошмарного видения, где я стоял среди подследственных в ожидании неминуемого позора. Как воплощение ужаса, появлялись в моих снах Риссен, Каррек,

иногда кто-то из курсантов, но самый большой страх вызывала Линда. Она приходила как мой обвинитель и судья и склонялась надо мной со шприцем. Вначале, просыпаясь и видя рядом с собой в постели живую Линду из плоти и крови, я испытывал облегчение, но вскоре видения ночи стали как бы вторгаться в действительность, и пробуждение приносило все меньше и меньше радости. Мне казалось, что настоящая Линда приобретает черты злобного существа моих сновидений. Как-то раз я совсем уже собрался рассказать ей о своих ночных мучениях, но вовремя остановился, вспомнив тот ледяной взгляд, которым награждала меня Линда во сне. Потом я не пожалел, что промолчал. Мысль о том, что Линда тайно сочувствует Риссену, стала для меня нестерпимой. Если бы только она узнала, какого я мнения о Риссене, она в тот же миг превратилась бы в моего врага, и — насколько я знал ее сильную натуру — врага беспощадного. Может быть, она уже давно стала мне врагом и только выбирала подходящий момент, чтобы нанести удар. Нет, рядом с ней я должен был молчать.

И тем более ни ей, ни кому-либо еще нельзя было рассказать другой мой сон — о городе в пустыне.

Я стоял в начале какой-то улицы, твердо зная, что должен пройти по ней до конца. Почему-то был уверен, что от этого зависит вся моя судьба. Улица состояла из развалин. Кое-где остатки домов возвышались, как небольшие холмы, а где-то совсем обвалились и их засыпало песком и мусором. В иных местах по обломкам стен подымались вверх вьющиеся растения, но рядом виднелись полосы голой безжизненной земли. Все это освещалось ослепительным полуденным солнцем. Над участками обнаженной земли то здесь, то там я смутно различал слабый желтоватый дымок. В других местах над песком сияло неясное светло-голубое мерцание — и оно, и дым одинаково пугали меня. Я неуверенно шагнул вперед, стараясь миновать зону ядовитых испарений, но тут внезапно налетел ветер и, оторвав от одной из струек дыма легкое облачко, погнал его прямо навстречу мне. Я отскочил назад. Потом заметил, что далеко впереди голубое мерцание стало ярче, поднялось высоко и вскоре, как стена неяркого пламени, загородило всю улицу. Я оглянулся посмотреть, не произошло ли чего-нибудь подобного и у меня за спиной, ведь тогда путь назад тоже отрезан, но там все оставалось по-старому. Я снова шагнул вперед. Ничего не случилось. Еще

шаг. Тут за спиной послышался треск. Быстро оглянувшись, я увидел нечто странное. Камень, на который я только что наступил, весь как бы разрыхлился, покрылся порами и через минуту рассыпался в прах. В воздухе разлился слабый, но неприятный запах. Я стоял неподвижно, не решаясь ни идти вперед, ни оглянуться назад.

И тут послышались какие-то невнятные голоса. Я посмотрел в ту сторону и увидел полуразвалившиеся ворота, увитые какими-то растениями. Раньше я их не замечал и сейчас почувствовал облегчение, увидев так близко от себя живую зелень. С обвалившейся каменной лестницы кто-то звал меня подойти поближе. Не помню, как я очутился у ворот, наверное, собрав все свои силы, перескочил через опасную полосу. Так или иначе, я оказался в помещении с полуразрушенными каменными стенами, без потолка. Солнце свободно проникало сюда, и над моей головой колыхались стебли цветов и травы. Никогда еще даже дом с крышей и прочными стенами не казался мне таким надежным убежищем! От травянистых кочек исходил аромат прогретой солнцем земли и ласковой беспечности, а где-то вдали все еще пели незнакомые голоса. Женщина, которая звала меня с лестницы, была сейчас

рядом, и мы обняли друг друга. Я был спасен и, усталый, полный облегчения, хотел заснуть. Она спросила: «Ты останешься со мной?» «О да, позволь мне остаться», — ответил я и тут же почувствовал, что все мои горести куда-то исчезли и я стал беззаботным, как ребенок. Под ногами я ощущал какую-то влагу и, наклонившись, увидел, что по земляному полу бежит чистый ручей. Это наполнило меня бесконечной благодарностью. «Знаешь, это струится жизнь», — сказала женщина, и в тот же момент я понял, что все это только сон, который рано или поздно кончится. В мыслях я начал искать способ продлить его и думал так лихорадочно, что от стука собственного сердца тут же проснулся.

Этот сон, как бы он ни был прекрасен, мог, в сущности, вызвать еще большие нарекания, чем мои ночные кошмары, и я не стал рассказывать о нем ни Линде, ни кому-либо другому. Не потому, что Линда могла приревновать меня к героине сна — эта женщина немного походила на ту, с проникновенным голосом, о которой я не раз упоминал, но глаза у нее были Линдины, так вот, я никому не говорил об этом сне, потому что в нем заключался недвусмысленный ответ на вопрос Риссена, не завидую ли я жителям отравленного

газом города в пустыне. Вот как далеко зашло влияние Риссена — даже ночью я не мог от него избавиться. Что толку от моих попыток уверить самого себя, что я ни в чем не виноват, что это все Риссен? Ни один судья в мире не посчитался бы с таким аргументом.

Все это случалось еще до того, как Каррек пригласил меня к себе, то есть до того, как вступил в действие новый закон. В ту пору моим единственным утешением была надежда на месть, которая должна свершиться где-то в неопределенном будущем.

Когда я узнал от Каррека, что проведению моих планов в жизнь больше ничто не препятствует, я испытывал, разумеется, состояние крайнего возбуждения. Цель, которая раньше казалась такой далекой, неожиданно приблизилась, но, когда я начинал обдумывать детали, она вновь представлялась мне недостижимой. Если Линда действительно любит Риссена, она наверняка сумеет каким-то образом узнать, кто донес на него. Что именно она тогда сделает, я не знал, но был твердо уверен, что она непременно добьется своего и отомстит. При этой мысли меня пробирала дрожь. Что бы ни случилось, я ни за что не хотел испытать на себе действие собственного

препарата.

В эту ночь я почти не спал.

Наутро в газете появилась статья под заголовком «МЫСЛИ МОГУТ БЫТЬ НАКАЗУЕМЫ».

Это было изложение и разъяснение нового закона. Упоминался, естественно, и мой каллокаин. В статье излагались новые и, на мой взгляд, чрезвычайно разумные принципы системы наказаний. Судьи больше не должны были следовать формальным параграфам, предусматривавшим для каждого вида преступлений определенную меру наказания, независимо от того, кто очутился на скамье подсудимых — впервые оступившийся человек или закоренелый злодей. Объектом расследования становился не тот или иной отдельно взятый проступок, а весь человек в целом. Тщательно исследовался его характер, склад ума, нервная система — и вовсе не для того, чтобы ответить на старый бессмысленный вопрос «Вменяем или невменяем?», а чтобы отделить пригодные к использованию ресурсы от непригодных. Мера наказания определялась не механически — «столько-то и столько-то лет каторжных работ», а исходя из расчетов видных психологов и экономистов, устанавливавших, какие затраты окупят себя, а какие нет. Суще-

ства, физически и духовно неполноценные, не могущие принести Империи реальной пользы, не должны рассчитывать на то, что им сохранят жизнь лишь потому, что они не сумели совершить достаточно тяжелого преступления. С другой стороны, нельзя не учитывать и падения численности населения, поэтому в некоторых случаях будет использоваться и человеческий материал менее желательного характера, если он может найти применение в качестве рабочей силы. Закон об антиимперском складе характера вступал в силу уже с сегодняшнего дня, но одновременно в статье указывалось, что все заявления должны быть тщательно мотивированы и в отличие от прежних, анонимных, подписаны подлинным именем. Эта последняя мера была необходима, чтобы ограничить поток доносов по мелким поводам и тем самым предотвратить чрезмерные расходы на производство каллокаина и содержание судебных работников.

Полиция оставляла за собой право принимать во внимание только те заявления, какие считала нужным.

Того, что под заявлением нужно подписываться, Каррек мне не говорил. Линде, если она захочет отомстить виновнику осуждения Риссе-

на, это облегчало дело.

Рабочий день прошел без особых сюрпризов и сенсаций, но я не сказал бы, что спокойно. Во время обеда мы с Риссеном не сказали друг другу ни слова. Я не смел даже взглянуть в его сторону. А если он догадался о моих намерениях и теперь в любую минуту может нанести удар? Но, как ни мучила меня эта мысль, из-за Линды я ничего не решался предпринимать. Малейшее промедление грозило опасностью, но мне все-таки приходилось терпеть.

Дома, за ужином, я чувствовал себя так же скверно, как во время обеда. Я боялся встретиться глазами с Линдой — вдруг и ей все известно? Казалось, самый воздух насыщен был враждебностью. Минуты шли, и мне казалось, что горничная никогда не уйдет, а дети так и не лягут. Но вот наконец мы остались с Линдой вдвоем. На всякий случай я включил радио на полную мощность, а Линду усадил так, что громкоговоритель оказался как раз между нами и «ухом полиции».

Не помню, что за доклад передавали в тот день, я был слишком взволнован. На лице Линды не отразилось ничего — ни когда я включил радио, ни когда попросил ее сесть именно на этот стул. Но она, видимо, догадалась о моем состоянии и

как будто тоже перестала слушать. Лишь когда я придвинулся к ней вплотную, она впервые взглянула на меня вопросительно.

— Линда! — сказал я. — Я должен тебя кое о чем спросить.

— Да? — отозвалась она без всякого удивления.

Я всегда знал, что самообладание у нее великолепное. И знал: если когда-нибудь мы дойдем до последней грани, до борьбы не на жизнь, а на смерть, она будет мне опаснейшим противником. Может быть, поэтому я и не решался уйти от нее? Боялся того, что может последовать потом? В самой моей любви заключался великий страх, я знал это давно. Но вместе со страхом жила и мечта о покое и уверенности, мечта о том, что моя упорная любовь когда-нибудь заставит Линду стать моей союзницей. Как это произойдет и, главное, как я об этом узнаю, я понятия не имел — это лишь мечта, такая же неопределенная и далекая от действительности, как мечта о загробной жизни. Но одно я понимал ясно: через несколько минут я могу потерять даже эту мечту. До сих пор мы были пусть плохими, но все же союзниками, сейчас, быть может, превратимся в злейших врагов. А я даже не узнаю об этом, потому что она не позволит себе ни малейшей

перемены в лице, ни дрожи в голосе. И все же я должен исполнить задуманное.

— Я спрашиваю просто так, для проформы., — продолжал я, пытаясь улыбнуться. — Я и сам знаю ответ и никогда в нем не сомневался, а если я все-таки ошибаюсь… ну что ж… Ты сама понимаешь, что я не стану особенно переживать, мне в общем-то все равно… Я думаю, ты меня достаточно знаешь, и я тебя тоже.

Я вытер лоб носовым платком.

— Итак? — спросила Линда и взглянула на меня испытующе.

Когда она смотрела таким образом, я чувствовал себя как под лучами прожектора.

— Итак, только одно, — тут мне удалось по-настоящему улыбнуться, — ты когда-нибудь была близка с Риссеном?

— Нет.

— Но ты любишь его?

— Нет, Лео, не люблю.

Вот и все. Скажи она «да», я, наверное, тут же поверил бы ей. Но она ответила «нет», и я больше не смел даже взглянуть на нее. Что толку спрашивать дальше? Она видела, что я лгу, она прекрасно понимала, что мне далеко не все равно. Завтра или послезавтра она поймет, почему

я спрашивал. А может, она знает это уже сейчас? Может, Риссен уже рассказывал о грозящей ему опасности? Не дыша, я впился в нее глазами. У меня чуть не остановилось сердце, когда я заметил, как в ее лице что-то шевельнулось, это было слабое, почти неприметное движение, но оно для меня значило больше, чем все ее слова.

— Ты мне не веришь? — спросила она серьезно.

— Что ты, как ты могла подумать! — воскликнул я преувеличенно бодро.

Если бы только она сейчас поверила мне! Если бы я мог усыпить ее настороженность! Но я знал, что она не даст себя обмануть.

Больше мы не разговаривали. Даже эти несколько фраз стоили мне такого нервного напряжения, что я чувствовал себя совершенно разбитым, а выиграть мне ничего не удалось. Никогда еще пропасть между нами не казалась такой глубокой и такой непреодолимой. У меня не хватило сил даже пошутить или начать разговор о повседневных делах. К счастью, через час мы оба должны были уходить на военную службу. Линда тоже не произнесла ни слова, и это тревожное молчание было хуже всего.

Наконец прошел и этот час.

Мы вернулись поздно ночью, совершенно измученные. Линда быстро заснула, я слушал ее ровное дыхание, но сам заснуть не мог. Иногда я, правда, впадал в дремоту, но тут же просыпался от внезапного предчувствия опасности. Возможно, у меня просто разыгралось воображение, в комнате стояла тишина, и Линда спала глубоко, как раньше. Но я был близок к отчаянию. Как это никто до сих пор не задумался, до чего рискованно лежать вот так бок о бок с другим человеком всю долгую ночь, и никого нет рядом, никаких свидетелей, только «глаз» и «ухо» полиции на стене. Но они ведь не гарантируют безопасность — они только фиксируют происходящее в комнате, да и то, я думаю, не всегда, когда-нибудь и их выключают. Два человека рядом, и больше никого, ночь за ночью, год за годом, может, они ненавидят друг друга, и однажды жена проснется в темноте, и тогда… Если бы ввести Линде дозу каллокаина…

Как волна швыряет щепку, так тряхнуло меня от этой мысли. У меня нет выбора, я должен действовать в целях самозащиты, ради спасения жизни. Я все устрою — под каким-нибудь предлогом унесу домой немного каллокаина. Я должен узнать тайны жены любой ценой, тогда она будет

в моей власти, а не наоборот, и ни за что не осмелится причинить мне вред. Тогда я смогу пойти дальше и написать донос на Риссена.

Тогда я наконец почувствую себя свободным.

* * *

В эту ночь я почти не спал, но, придя утром на работу, почувствовал, что не испытываю больше страха и нерешительности, мучивших меня в последние дни. Я был готов к действию, и это приносило мне облегчение.

Взять нужное количество каллокаина не составило никакого труда. Все равно какая-то часть его при экспериментах пропадала, а контрольное взвешивание производилось сравнительно редко, особенно сейчас, при нашей вечной спешке. Взвешивал, кстати, сам Риссен. Если сегодня или завтра ему не придет в голову сделать проверку, то все в порядке. Наблюдающий за Риссеном помощник в общей суматохе, конечно, не станет входить в такие детали. Послезавтра я уже могу ни о чем не беспокоиться. Я уповал на свое везение и вечную загруженность Риссена.

Итак, когда я вечером пришел домой, в кармане у меня лежал шприц и маленькая бутылочка с безобидной на вид светло-зеленой жидкостью. Радость от того, что первый шаг уже сделан, придала мне новые силы, и я даже смог за ужином

поболтать и пошутить с детьми и горничной. Линде я только кивнул и отвернулся, не смея задерживаться взглядом на ее лице. Глаза жены снова пронзили меня, как луч прожектора, но то, что лежало у меня в кармане, действовало посильнее.

После ужина мы опять ушли на военную службу и вернулись поздно.

Лежа в постели, я долго ждал, пока Линда заснет. Потом я осторожно вылез из-под одеяла и при свете ночника завесил простыней «глаз полиции». «Ухо полиции» я загородил подушкой так же беззастенчиво, как это однажды сделал Каррек. Разумеется, такие вещи категорически запрещались, но я находился на грани отчаяния и для меня было важно только, чтобы никто ничего не узнал.

В слабом свете ночника Линда выглядела на редкость красивой. Ее обнаженная смуглая рука лежала поверх одеяла, натянутого до самого подбородка, хотя в комнате было очень тепло. Казалось, что ей хотелось как-то прикрыть, защитить себя. Голову она откинула набок, так что правильный профиль четко выделялся на подушке. На коже, как на теплом золотистом бархате, чернели густые брови и ресницы. Всегда

напряженно изогнутые губы казались во сне мягкими, совсем девичьими и очень усталыми. Такой юной я никогда не видел ее днем — разве что когда мы только познакомились, и никогда она не выглядела такой трогательной. Я, всегда отступавший перед ее внутренней силой, испытывал сейчас едва ли не сострадание при виде этой детской слабости и беззащитности. К той Линде, которая лежала сейчас передо мной, я хотел бы приблизиться совсем иначе — ласково и бережно, как в нашу первую встречу. Но я знал, что стоит мне разбудить ее, как губы опять напрягутся, словно натянутый лук, и глаза вонзятся в меня, будто лучи прожектора. Она сядет на постели, прямая и подтянутая, наморщит лоб и, конечно, тут же заметит и наброшенную на «глаз полиции» простыню, и стоящую не на месте подушку. А если даже я разбужу ее для любви, что ждет меня? Кратковременная иллюзия взаимности, опьянение, которое пройдет к утру, и я снова стану мучиться и гадать…

Прежде всего я носовым платком завязал ей рот, чтобы во время борьбы она не могла вскрикнуть. Конечно, она тут же проснулась и попыталась освободиться, но, во-первых, физически я был сильнее, а во-вторых, как-никак я застал ее врас-

плох. Мне удалось довольно быстро связать ее по рукам и ногам. Ведь у меня обе руки должны были быть свободны.

Она вздрогнула, почувствовав прикосновение иглы, но больше ни разу не шевельнулась. Видимо, поняла, что сопротивление бесполезно.

Препарат начинал действовать самое большее через восемь минут после укола. Когда эти восемь минут прошли, я снял с ее рта платок. По ее лицу я увидел, что все в порядке. Оно стало почти таким же девически ясным, как во сне.

— Я понимаю, что ты делаешь, — сказала она задумчиво, и даже в ее голосе прозвучала та же детская безмятежность. — Ты хочешь что-то узнать. Вот только что? Тебе многое придется узнать, потому что я должна многое сказать. Не знаю даже, с чего начать. Я сама хочу говорить, зачем ты меня заставляешь? Хотя, может быть, первая я не заговорила бы. Так было все годы. Хочу что-нибудь сказать или сделать, а как — не знаю. Наверное, это относилось ко всяким пустякам — дружбе, ласке, уюту, но когда я увидела, что ничего у меня не выходит, стала думать, что в большом и важном тоже ничего не выйдет. Одно только я знаю твердо: я хотела бы убить тебя. Если только я была бы уверена, что это никогда не

откроется, я тебя убила бы. А если даже и откроется, пускай! Хуже, чем сейчас, все равно не будет. Я ненавижу тебя за то, что ты не можешь спасти меня от всего этого. Я убила бы тебя, если бы не боялась. А вот теперь почему-то не боюсь. Сейчас я разговариваю с тобой, а раньше не могла. Ты боишься, я боюсь, и все боятся. Одиночество, всегда одиночество, и совсем не такое, как бывает в юности. Это ужасно. Я не могла говорить с тобой о детях, о том, как мне тяжело, что Оссу больше не живет с нами, и как я боюсь того дня, когда Мария тоже уйдет, а потом Линда. Я думала, ты будешь меня презирать. Ты, наверное, сейчас меня презираешь, ну и пусть! Как я хотела бы снова стать молодой, только чтобы у меня была несчастная любовь. Люди не понимают, как это замечательно — быть девушкой и любить безответно. В молодости человек верит, что любовь приносит свободу, что у любимого находишь какое-то прибежище, что есть в мире человеческое тепло и покой, хотя на самом деле ничего этого не существует. Ты влюблен безответно, но даже в твоем горе есть какая-то сладость — пусть тебе не досталось большого счастья, но оно досталось другим, у кого-то оно есть, оно существует на свете. И ты думаешь, что если в мире так много

радости и всякую жажду можно утолить, то не так уж страшно быть несчастным. Во всяком случае, не стоит отчаиваться. А счастливая любовь влечет за собой пустоту. Нет больше никакой цели, есть только одиночество. И откуда возьмется что-то другое, откуда возьмется смысл жизни для нас, одиноких? Я слишком любила тебя, Лео, но ты совсем не такой, как я выдумала. И теперь я могла бы убить тебя.

— А Риссен? — торопливо спросил я. Драгоценные минуты уходили, а я до сих пор ничего не узнал. — Что ты думаешь о Риссене?

— Риссен? — повторила она удивленно. — Ну что Риссен… В нем есть что-то особенное. Он не такой далекий, как другие. Он никого не пугает и сам не боится.

— Ты любила его? Сейчас еще любишь?

— Риссена? Любила ли я Риссена? Да нет же, нет. Если бы я только могла! Он был совсем не такой, как другие. Близкий. Спокойный. Никому не угрожал. Если бы кто-нибудь из нас был таким же, как он, или даже мы оба, оба, Лео… Нет, это ты должен походить на него, поэтому я и хочу убить тебя — чтобы уйти от всего этого. Никого у меня не будет, но пусть и тебя не будет…

Она забеспокоилась, наморщила лоб. Сделать

второй укол я не решался, а о чем еще спросить, не знал.

— Как это может быть? — прошептала она со страхом. — Как это может быть, что человек ищет то, что не существует? Как это может быть, что человек чувствует себя смертельно больным, хотя на деле он здоров и все идет как полагается…

Голос Линды упал до неясного бормотания, по щекам разлилась зеленоватая бледность, и я понял, что сейчас она придет в себя. Осторожно поддерживая ее под подбородок, я взял со столика стакан с водой. До этой минуты Линда все еще лежала связанная, и теперь я, хоть и не без трепета, освободил ее. Все это время я со смешанным чувством страха и торжества ждал ее пробуждения. Какой ужас и стыд охватят ее сейчас, после вынужденной откровенности! Я почувствовал, что рука, которой я поддерживал голову Линды, сильно дрожит. Я опустил ее голову на подушку, убрал руку и с нетерпением и испугом стал вглядываться в ее лицо. Но ожидаемой реакции не последовало. Когда Линда открыла глаза, они казались задумчивыми, но такими же спокойными и широко открытыми, как обычно. Она без страха встретила мой взгляд. Что-то странное было с ее губами. Они не напряглись, как натянутый

лук, они все еще казались слабыми и мягкими, и лицо сохранило прежнее полудетское выражение. Я и не подозревал, что в расслабленных, умиротворенных чертах может быть такая пугающая торжественность. Губы Линды тихонько шевельнулись, словно она повторяла что-то про себя. Мне больше нечего было делать, оставалось только сидеть и смотреть на ее лицо.

Я сидел и сторожил ее, и наконец она заснула. Я тихо разделся и тоже залез под одеяло, но успокоиться не мог. Меня переполняли глухой стыд и страх. Можно было подумать, что это не Линду, а меня подвергли обследованию и разоблачили. Я все время твердил себе: теперь она в моей власти. Мне известны ее тайны, и я могу пригрозить, что раскрою их всем, если она вздумает чем-нибудь повредить мне. Впрочем, возможно, она уже успела это сделать. Что касается ее намерения убить меня, то я еще на работе наслышался подобных угроз и знал, что они редко приводятся в исполнение. Но высказывать такую мысль вслух… Может быть, Линда уже целиком в моих руках, и все идет как намечено.

Кроме одного: я никогда не смогу воспользоваться своим преимуществом. Под всем, что говорила Линда, мог бы подписаться и я. Я, как в

зеркале, увидел самого себя, и это терзало меня больше всего. Я и не подозревал, что она, со своими напряженными, как натянутый лук, губами, со своими пронизывающими глазами и умением молчать, была из той же слабой породы, что и я. Так как я мог угрожать ей, как мог принуждать?

* * *

Я все-таки заснул, но ненадолго. Когда я открыл глаза, Линда еще спала. Ночные переживания тут же вспомнились мне, но одновременно возник противный сосущий страх и тягостное ощущение чего-то несделанного. Через минуту я уже твердо понял: Риссен! Сегодня.

А может быть, все-таки не надо? Подождать еще немного? Но разве что-то изменилось? Риссен остался тем же, что и раньше. Ну он мне не был соперником, но ведь мое отвращение к нему вызывалось гораздо более глубокими причинами. Теперь я стал к нему лишь чуточку терпимее — и только. Нет, если я не сделаю этого сегодня же, то буду всю жизнь презирать себя. По чистой случайности сейчас, пока Линда спала, у меня было достаточно времени, чтобы продумать и написать заявление. События ночи имели, по крайней мере, один хороший результат: я узнал, что Линда не станет мстить мне за Риссена.

При слабом мерцающем свете ночника я набросал черновик. Основная мотивировка не составила труда — я не раз повторял ее мысленно.

Все, о чем я в общих словах говорил Карреку, я написал и здесь, только более подробно и убедительно. До утра оставалось еще много времени, и, сидя в постели и подложив под лист бумаги «Химический журнал», я стал переписывать все начисто. Получилось достаточно аккуратно. Свое имя и адрес, раз уж так требовалось, я решительно поставил внизу, на конверте написал адрес полицейского управления. После этого меня опять одолели сомнения, и я не меньше получаса вновь и вновь перечитывал написанное. Когда за стенкой у соседа зазвонил будильник, напомнив, что скоро и мне на работу, я поставил в углу бумажного листа тайный знак Каррека (в воображении я уже не раз проделывал эту операцию), положил письмо в конверт, а конверт засунул в журнал.

Линда проснулась по звонку нашего будильника. Она взглянула на меня так, как будто все, что произошло ночью, нам только приснилось. Я-то представлял себе этот момент совершенно по-другому. Я воображал себя победителем и судьей, диктующим свои условия разоблаченной и подавленной Линде, целиком сдающейся на мою милость. Но все вышло иначе.

Мы встали, оделись, молча вышли из квартиры,

вместе поднялись наверх и расстались у остановки подземки. Я не выдержал и через секунду обернулся, но в тот же момент и она обернулась и кивнула мне. Я вздрогнул. Не собиралась ли она усыпить мою бдительность, чтобы потом отомстить? Но почему-то вопреки всем доводам разума я в это не поверил. Когда она скрылась в подземке, я достал письмо и бросил его в почтовый ящик.

Удивительное дело — маленький значок в углу бумаги. Зная Каррека, я ни минуты не сомневался, что этого жалкого росчерка пера достаточно, чтобы уничтожить Риссена. И в середине улицы, в толпе моих соратников, спешащих на утреннюю гимнастику и на работу, я внезапно остановился, пораженный устрашающим сознанием собственного могущества. Я ведь еще не раз смогу начертить такой же значок! Пока мои интересы не пришли в столкновение с интересами Каррека, он охотно пожертвует каким-нибудь десятком жизней в обмен на ту услугу, которую я ему оказал. Значит, я обладаю силой и могуществом.

Я уже говорил, что жизненный путь всегда рисовался мне в виде лестницы. Вполне невинный образ и даже, пожалуй, немного смешной — так и

представляется прилежный школьник, примерно переходящий из класса в класс, или мелкий чиновник, усердно продвигающийся по службе. И с неожиданным чувством отвращения я ощутил себя стоящим на самой верхней ступени. Не то чтобы мне не хватало фантазии вообразить более высокую степень власти, чем та, которой обладал начальник полицейского управления в Четвертом Городе Химиков. Я повидал достаточно: присуждение военных чинов, столичные министерства, Туарега, Лаврис *и вполне мог представить себе достаточно большие высоты и широкие горизонты*. Но для меня эти могущественные инстанции олицетворяла именно та ничтожная доля власти, которой я располагал. И это возбуждало во мне отвращение.

То, что такого опасного вредителя, как Риссен, следовало уничтожить, не вызывало сомнений. Дело было не в этом. Ну не станет его, но что изменится для меня? Какой-нибудь день тому назад все казалось очень простым: Риссена приговаривают к смерти, и он погибает, а вместе с ним погибает и Риссен внутри меня, потому что его существование целиком зависит от существования другого, настоящего Риссена. Риссен погибает, и я вновь становлюсь настоящим сол-

датом, здоровой клеткой имперского организма. Да, еще вчера я думал так, но мою решительность поколебали события ночи и неудача с Линдой.

То, что это неудача, я не мог скрыть даже от себя самого. Да, я узнал что хотел — она не помешает мне привести в исполнение свой план. Я мог не бояться мести с ее стороны, потому что теперь, после всего, что произошло, она так же крепко и неразрывно связана со мной, как я с ней. Теперь она находилась в моей власти, и я владел тайнами, которых она не хотела открывать. Все правда. Все в порядке, если иметь в виду ту глупую ограниченную цель, что я себе поставил. Но по-настоящему… по-настоящему это была большая и непоправимая неудача.

Ее слова о несчастной любви, которая достойна зависти, подошли бы скорее романтически настроенной девушке, но в них была какая-то доля правды, и я вполне мог применить их к своим отношениям с ней. Весь мой брак строился на несчастной любви — не безответной, нет, но все равно несчастной. Я воображал, что за серьезным лицом, за напряженными, как натянутый лук, губами, за суровыми, широко раскрытыми глазами скрывается таинственный мир, который, если только суметь проникнуть в него, утолит мою

жажду, облегчит тревогу, принесет покой на все времена. И вот теперь я силой проник в этот мир, принудил ее дать мне то, чего добровольно она не хотела давать, но жажда моя осталась прежней, а тревога и неуверенность возросли. Если этот желанный мир где-то и существовал, для меня он был закрыт. И я, как Линда, хотел вернуть пору иллюзий, когда верилось, что рай за стеной можно завоевать.

Какую связь все это имело с моим отвращением к силе, я сам не понимал, но чувствовал, что связь есть. И еще я чувствовал, что смерть Риссена ничего не изменит. Казалось бы, я добился от Линды всего, что хотел, и все-таки потерпел такую неудачу, что сейчас меня грызло подлинное отчаяние. Так же, предчувствовал я, будет и с Риссеном — его осуждение и казнь не принесут мне того, к чему я стремлюсь.

Впервые в жизни я ощущал, что такое власть, пользовался ею как оружием — и испытывал отвращение.

Странные слухи расползались по полицейскому управлению. Точно никто ничего не знал, никто не мог поручиться за свои слова, но, встречаясь в коридорах или на лестницах, люди, если поблизости никого не было, шептали друг дру-

гу: «Вы слышали, сам министр полиции Туарег арестован… Нет, это только слухи… За антиимперский склад характера… Тсс!..»

Думал об этом Каррек? Он так близок с Туарегом и так добивался введения нового закона. Знал он об этих слухах? Может быть, как раз он?.. Мне совершенно некогда раздумывать над этим, времени и так не хватало.

За обедом я больше не избегал взгляда Риссена. Догадывался он о чем-нибудь или нет, участь его уже решена, у меня даже возникло ощущение, что передо мной не живой человек из плоти и крови, а некий мираж. Он сидел за столом и весьма громко сморкался в носовой платок, но мне казалось, что это какое-то видение, что передо мной сравнительно безобидное зеркальное отражение неправильного и дурного принципа, который я все еще пытался понять. Как будто я размахнулся для удара и тут же осознал, что мгновение спустя моя рука коснется лишь зеркального отражения. Но я еще пытался убедить себя, что мне все равно.

Ощущение реальности пришло только по дороге домой. У меня вдруг отяжелели ноги, когда я подумал, что вот сейчас увижу Линду. Сегодня свободный вечер, и скоро мы окажемся вдвоем,

с глазу на глаз. Я не представлял, как смогу вынести это.

И вот этот час наступил. Должно быть, она ждала его, потому что на сей раз она сама составила вместе стулья и включила радио, но никто из нас его не слушал.

Мы долго сидели, не говоря ни слова. Я украдкой поглядывал на ее лицо: что скрывалось за его неподвижностью? Она молчала. А что, если я ошибся и мои вчерашние опасения были справедливы?

— Ты написала на меня донос? — глупо спросил я наконец.

Она отрицательно покачала головой.

— Но собираешься написать?

— Нет, Лео, нет.

И она снова замолчала, а я не знал, что еще спросить. Мне было страшно тяжело. Я закрыл глаза и откинулся на стуле, покорно отдавшись во власть неизбежного. Мне вспомнился один из наших подследственных — молодой человек, от которого мы узнали о тайных собраниях секты умалишенных. Он говорил, что в молчании заключено нечто пугающее, и тот, кто молчит, чувствует себя до ужаса беззащитным. Только теперь я понял его.

— Я хочу поговорить с тобой, — наконец сказала Линда с трудом. — Мне многое нужно сказать. Ты должен выслушать. Хочешь?

— Да, — сказал я. — Линда, я сделал тебе больно.

Она вымученно улыбнулась:

— Ты открыл меня силой, как консервную банку. Но это неважно. Потом я поняла, что или умру со стыда, или расскажу тебе все. Рассказывать? Хочешь еще послушать меня, Лео?

Я не ответил. И сейчас не могу объяснить, что происходило тогда во мне, потому что я весь обратился в слух. Такое ощущение, словно до сих пор я никогда в своей жизни никого по-настоящему не слушал. Просто мои уши делали свое дело, память механически регистрировала все происходящее, но мои мысли были где-то в другом месте. А сейчас для меня исчезло все на свете и осталось лишь то, о чем она говорила.

— Ты уже многое знаешь, Лео. Ты знаешь, что я хотела убить тебя. По ночам, когда нет ни стыда, ни страха, я думала, что смогу сделать это, но теперь знаю, что не смогу. Я могу только воображать себе жуткое и несбыточное. И это не потому, что я боюсь наказания. Но об этом я лучше скажу потом. Сейчас я хочу говорить о другом. О детях

и обо всем, что я пережила из-за них. Это долгая история. Я ведь никогда не смела говорить об этом. Я начну с Оссу. Помнишь, когда я была беременна, мы все время считали, что родится обязательно мальчик. Может быть, ты просто хотел сделать мне приятное, но ты тоже говорил, что непременно будет мальчик. Знаешь, если бы тогда у нас родилась девочка, я чувствовала бы себя по-настоящему оскорбленной и посчитала это страшно несправедливым, ведь я была так предана Империи, что с радостью согласилась бы умереть, если бы вдруг нашли такое средство, чтобы дети могли появляться на свет без женщин. Да, я относилась к женщинам как к необходимому злу — пока еще необходимому. Официально мы считались такими же — или почти такими же — достойными соратниками, как мужчины, но только потому, что рожали новых мужчин и новых женщин, разумеется, которые, в свою очередь, давали жизнь следующему поколению мужчин. Каждому хочется стать какой-то, пусть маленькой — нет, не маленькой, лучше большой — величиной, а я вдобавок была тщеславной, и как же мучило меня сознание, что я могу так мало! «Женщины хуже мужчин, — твердила я себе, — они слабее физически, не могут подымать

больших тяжестей, боятся бомбежек, не выдерживают рукопашных схваток, они неполноценны как бойцы, как солдаты. Они годятся только на то, чтобы поставлять новых бойцов. Официально их ценят так же высоко, как мужчин, но это простая вежливость. К ним проявляют вежливость, чтобы они были веселыми и покладистыми. Может быть, наступит время, — думала я, — когда женщины вообще окажутся не нужны — станут сохранять только их яичники, а все остальное выбрасывать в канализацию. Тогда Империя будет состоять из мужчин, и не придется больше тратить деньги на питание и обучение девушек. Не очень-то приятно чувствовать, что все твое назначение — быть своего рода хранилищем, которое хоть и необходимо, но обходится слишком дорого. Так неужели не обидно, особенно если рожаешь первый раз в жизни, произвести на свет существо, которому тоже суждено быть только хранилищем и ничем больше?» К счастью, этого не произошло, родился Оссу — будущий мужчина, и это так радовало меня. Вот какой я была тогда, Лео.

Оссу подрос и начал ходить, а я уже была беременна Марил. После того как я перестала кормить Оссу, я видела его только утром и вечером — по-

сле работы, и это было так удивительно. Я твердо знала, что он принадлежит Империи, что на детской площадке, где он проводит целый день, его воспитывают как будущего солдата и то же самое будет в Унгдомслэгере. Хотя наследственность имеет большое значение — тут, насколько я знала, у Оссу все было в порядке, — хотя в нем должны были проявиться не только наши с тобой черты, но и черты многих поколений до нас, — так вот, несмотря на это, я понимала, что его личность будет складываться прежде всего под влиянием руководителей детской площадки и Унгдомслэгера, их собственного примера и принципов воспитания. Но я все время замечала в нем занятные черточки, унаследованные от тебя или от меня. Он морщил нос, и я думала: «До чего забавно, ведь точно так же делала я, когда была маленькая!» И я ощущала себя как бы частицей своего сына. Это было гордое чувство: я словно становилась мужчиной. Я замечала, что он смеется так же, как ты, и это переносило меня в твое детство. А его манера вертеть головой, и еще форма глаз… И от всего этого у меня возникало преступное чувство обладания. Это значит, думала я, что он наш… И добавляла с сознанием вины: сын. Я понимала, что это нехорошее чувство, ко-

торого не должно быть у честной соратницы. Не то чтобы совсем нехорошее, но что-то неподобающее в нем все-таки было. И хуже всего то, что оно все росло и росло и особенно усилилось, когда я вновь почувствовала себя беременной. Ты, может быть, помнишь, что в тот раз роды у меня были долгие и тяжелые. Смешно, конечно, но я тогда вообразила и потом уже не могла отделаться от этой мысли, что это неспроста, а потому, что я так не хотела расстаться с Марил, оторвать ее от своего тела. Когда родился Оссу, я была матерью, которая рожает детей только для Империи. С появлением Марил я стала настоящей самкой, эгоистичной и жадной. Я хотела, чтобы дети принадлежали только мне, я считала, что имею право на них. Совесть подсказывала, что я не права, что у меня не должно быть таких мыслей, но ни стыд, ни чувство вины не могли побороть эту жадность. Если и есть у меня властолюбие — совсем небольшое, согласись, Лео! — так вот, оно проявилось именно после рождения Марил. В те короткие часы, когда Оссу был дома, я командовала им как могла, только чтобы почувствовать, что он еще мой. Он слушался меня, так как на детской площадке учат прежде всего послушанию, и я знала, что имею на это право, потому что это

соответствует интересам Империи и помогает воспитанию будущего солдата. Но делала я это совсем не ради Империи. Мне просто хотелось целиком использовать то право на него, которое я пока еще имела.

Когда родилась Марил, я даже сама удивилась, почему меня ничуть не волнует, что это девочка, а не мальчик. Более того, я была довольна. Дочь не принадлежала Империи так безраздельно, как мальчики, она больше моя, в ней больше от меня самой. Как рассказать тебе обо всех моих переживаниях? Ты сам знаешь, Марил — необыкновенный ребенок. Она не похожа ни на тебя, ни на меня. Может быть, в ней есть что-то от наших далеких предков, не знаю. Она Марил — и этим все сказано. Это как будто так просто и в то же время так удивительно. Она все видит по-своему, и так было всегда, еще до того, как она научилась говорить. Да ты и сам знаешь, что она особенная.

Я заметила, что больше не испытываю такой страшной жадности. Марил была не моя. Я могла подолгу сидеть и слушать, как она что-то напевает, или читает, или рассказывает… — как бы их назвать? — в общем, фантастические, выдуманные истории, которые она не могла услышать на детской площадке. Но тогда откуда она их

узнала? Не могут же такие выдумки передаваться по наследству и всплывать в памяти через много поколений! У нее была и собственная мелодия, которой не знали ни мы с тобой, ни другие дети. Я просто голову теряла от страха и волнения. Она была Марил — не такая, как другие. Не бесформенная глина, из которой ты, или я, или Империя могут вылепить что угодно. Не мое творение и не моя собственность. Мой же ребенок словно околдовал меня, и это было так чудесно, но непривычно и немного пугало. Когда Марил находилась рядом, я всегда чего-то ждала. Я даже стала думать, что и Оссу, может быть, тоже особенный, только он уже научился скрывать свои чувства. Я жалела, что раньше так им командовала, и в конце концов оставила его в покое. То время было полно надежд, тогда я жила по-настоящему.

И вот я снова ждала ребенка. Кажется, что может быть естественнее, но меня это открытие буквально ошеломило. Я испугалась, нет, это не то слово. Я не боялась тяжелых родов, осложнений, ничего такого. Я испугалась, потому что вдруг поняла то, чего не понимала раньше. У меня было уже двое детей, а я только сейчас осознала, что это значит — родить ребенка. Я

больше не считала себя детородной машиной, содержание которой обходится чересчур дорого. Но я не была и жадной собственницей. Чем же я была? Не знаю, как объяснить. Происходящее не зависело от меня, но происходило благодаря мне, понимаешь? И это наполняло меня восторгом. Во мне росло новое существо, и у него были свои черты… что-то свое… Я ощущала себя цветущей веткой: я ничего не знала о своем стволе и корнях, но чувствовала, как из неведомой глубины поднимается сок. Я так долго говорю, а сама не знаю, понимаешь ты меня или нет. Пойми, существует что-то над нами и внутри нас. Оно создается в нас. Я знаю, что так нельзя, что мы принадлежим только Империи, и все-таки я тебе это говорю, иначе все бессмысленно.

Она замолчала, и я не сказал ни слова, хотя мне хотелось кричать. «Ведь это как раз то, против чего я боролся, — думал я как во сне, — все, против чего я боролся, чего боялся и чего желал».

Она ничего не знала о секте умалишенных, об их городе в пустыне, но так же неизбежно, как они, подпадала под новый закон, поскольку мечтала об иной общности, иной связи, не той, что дает Империя. И со мной было то же самое, потому что я чувствовал эту страшную и неот-

вратимую связь между нею и мной.

Я весь дрожал. Мне хотелось крикнуть: «Да! Да!» Казалось, сейчас наступит облегчение, которое вконец измученный человек испытывает, погружаясь в сон. Я спасен, я освободился от пут, душивших меня, и принимал новую веру, простую и ясную, которая поддерживала, но не сковывала.

Я мучительно старался найти нужные слова — и не мог. Я хотел идти куда-то, хотел действовать, сломать все и начать заново. Для меня не существовало больше окружающего мира, не существовало пристанища. Ничего, кроме нерушимой связи между Линдой и мной.

Я подошел к ней, опустился на колени и прижался головой к ее ногам. Я не знаю, делал ли кто-нибудь так раньше и сделает ли когда-нибудь потом. Я никогда об этом не слышал. Я знаю только, что не мог иначе. В этом было все, что я хотел и не мог сказать.

Она поняла меня и положила руку мне на голову. Мы оставались так долго-долго…

Поздно ночью я вскочил с постели.

Я должен спасти Риссена. Я написал донос на Риссена.

Линда ни о чем не спрашивала. Я поднялся к

вахтеру, разбудил его и попросил разрешения позвонить по домовому телефону. Я объяснил, что мне необходимо связаться с начальником полиции, и вахтер не стал возражать.

Поговорить с самим Карреком я не смог: он строго приказал ночью его не беспокоить. Но после долгих переговоров к телефону подошел более или менее толковый дежурный, он несколько успокоил меня, сказав, что ночью никаких дел рассматривать не будут. Если я хочу видеть начальника полиции, мне нужно прийти утром, за час до начала рабочего дня, он, дежурный, заранее предупредит обо мне, и, возможно, Каррек меня примет.

Я вернулся к Линде.

Она по-прежнему ни о чем не спрашивала. Я не знал почему: потому ли, что поняла все сама, или потому, что ждала, пока я заговорю первый. Но я не мог говорить, тогда еще не мог. До сих пор мой язык всегда был послушным и надежным инструментом, но сейчас он отказывался служить мне. Так же, как недавно я впервые в жизни по-настоящему слушал другого человека, так и сейчас я сознавал, что должен говорить иначе, чем всегда, а к этому я еще не был готов. Ведь то, что жило во мне и грозило сейчас выплеснуться

наружу, никогда раньше не требовало выражения. Я выразил все, что хотел, встав перед Линдой на колени, и она поняла меня.

Мы оба молчали, но это было совсем не то молчание, что мучило меня раньше. Просто мы вместе терпеливо ждали, и самое трудное осталось позади.

Время шло, но заснуть мы не могли. Линда сказала:

— Как ты думаешь, есть еще люди, которые думают так же? Может, среди твоих подопытных? Я должна найти их.

Я вспомнил маленькую бледную женщину, которую так радовало мнимое доверие мужа. С каким наслаждением в приступе неосознанной зависти я отнял у нее эту счастливую иллюзию! Она теперь, наверное, замкнулась в горьком недоверии к людям! А умалишенные, что притворялись спящими в кругу вооруженных людей? Конечно, все они сейчас в тюрьме.

Немного погодя Линда сказала:

— Как ты думаешь, кто-нибудь все-таки думает так же? Кто-нибудь начинает понимать, что это значит — родить ребенка? Другие матери, или отцы, или влюбленные? Может быть, сейчас они молчат, но когда увидят, что другие не боятся, то

заговорят тоже? Я должна найти их.

Я подумал о женщине с проникновенным голосом, о той, что говорила про живое, органичное и мертвое, искусственное. Если даже она еще на свободе, все равно я не знал, где ее искать.

Немного погодя, уже сонным голосом, Линда снова спросила:

— А что, если бы можно было создать новый мир — мир матерей? Понимаешь, я говорю вообще, неважно, женщины это или мужчины и есть у них дети или нет. Но где они, эти люди?

Я вздрогнул, и сон с меня как рукой сняло. Меня обожгла мысль о Риссене, который все время чувствовал во мне то, что сам я открыл лишь сейчас. И он пытался нащупать и выявить это, пока я не приговорил его к смерти. Я громко застонал и в отчаянии прижался к Линде.

* * *

За час до начала работы я уже был в полицейском управлении. Каррек ждал меня. С его стороны это было действительно дружеской услугой — ему пришлось встать на час раньше, а ведь он не знал, зачем я пришел. Скорее всего, он подумал, что я спешу рассказать о разоблачении банды шпионов или о чем-нибудь в этом же роде.

— Я, знаете… поставил этот знак… — начал я неуверенно.

— Я вас не понимаю, — сухо сказал он. — Что вы имеете в виду, соратник Калль?

Я сообразил, что он не хочет говорить прямо. В стенах полицейского управления тоже была скрыта определенного рода проводка, и ни одно слово или жест не могли остаться незамеченными. Стало быть, и самому начальнику приходилось остерегаться. Мне припомнились слухи о судьбе Туарега.

— Я ошибся, — сказал я (как будто это могло помочь!). — Дело в том, что я послал вам донос, а теперь хочу взять его обратно.

Лицо Каррека приняло чрезвычайно любезное выражение. Он тут же позвонил и попросил принести бумаги, среди которых находилось и мое письмо. Мне пришлось довольно долго ждать, пока он прочел его. Наконец Каррек поднял голову, и в его глазах я уловил неожиданный блеск.

— Это невозможно, — сказал он. — Даже если бы обвиняемый еще не был арестован, а он уже арестован, полиция не имеет права пройти мимо столь серьезного и тщательно обоснованного документа. Я не могу удовлетворить вашу просьбу.

Я посмотрел в лицо Каррека, напряженное и неподвижное, но ничего не смог прочесть в нем. Да, видимо, каждое его слово фиксировалось, и он, естественно, не мог ответить иначе, особенно после моей идиотской фразы насчет его знака. А может быть, кто знает, я уже успел впасть в немилость. На что ему подручный, который вдруг заколебался! В любом случае, говорить откровенно мы сейчас не могли.

— Тогда, — сказал я, — мне хотелось бы, по крайней мере, попросить вас, чтобы его… чтобы его не приговаривали к смерти.

— Определение меры наказания не входит в мою компетенцию, — холодно ответил он, — такие вопросы решает судья. Я мог бы выяснить,

кому поручено это дело, но все равно не имею права сообщать вам имя, потому что попытка предварительного воздействия на суд считается уголовным преступлением.

Я почувствовал, что у меня дрожат ноги, и, чтобы не упасть, ухватился за край письменного стола. Каррек этого не заметил или только сделал вид, что не заметил. В этом отчаянном положении у меня вдруг мелькнула мысль: если сейчас он под наблюдением и потому не в состоянии оказать мне дружескую услугу, то, возможно, он сделает это потом, втайне от других. Все, что сейчас происходит, только игра. В конце концов я же всегда полагался на него.

Но, подняв глаза, я увидел на лице Каррека злорадную улыбку. А через несколько секунд он заговорил медовым голосом:

— Может быть, вам интересно будет узнать, что на процессе Эдо Риссена именно вам предстоит сделать ему инъекцию. Вы для этого наиболее подходите, поскольку мы имеем дело не с рядовым обвиняемым, а с человеком, который неоднократно сам проводил такое расследование. Мы могли бы, конечно, взять конвойных из курсантов, но было решено эту честь предоставить вам.

Лишь много позже у меня возникло подозрение, что он сказал неправду, что никто ничего не решал, а идея эта появилась у самого Каррека в момент разговора со мной. Видимо, он считал, что в моем состоянии необходима хорошая встряска, а может быть, просто хотел причинить мне боль.

Но, как бы то ни было, после обеденного перерыва меня вызвали на процесс по делу Эдо Риссена. Курсантов на время моего отсутствия было велено занять чем угодно. До этого я чувствовал себя настолько скверно, что все происходящее представлялось мне сплошным хаосом, не раз возникало желание бросить все и, сказавшись больным, уйти. Но я все-таки остался, потому что должен был, потому что хотел присутствовать на процессе Риссена. Не затем, чтобы попытаться как-то повлиять на ход дела — тут я был бессилен, а затем, чтобы еще раз увидеть и услышать человека, которого я прежде так боялся и, как мне казалось, так глубоко ненавидел.

Аудитория уже заполнилась. На возвышении сидел офицер высшего ранга — судья — и два секретаря. Перед ними лежали чистые блокноты. Рядом с судьей я заметил нескольких человек в военно-полицейской форме — видимо, консультантов по вопросам психологии, государственной

этики, экономики и другим. На расположенных полукругом скамьях сидели курсанты в рабочих комбинезонах — ученики самого Риссена! Я смутно различал их лица, среди множества одинаковых комбинезонов они казались желтоватыми пятнами. Как вся эта молодежь реагирует на происходящее? Напрягая зрение, я пытался рассмотреть то одного, то другого, но их лица были неподвижны, как маски. Я перестал вглядываться, и они снова потеряли четкие очертания, расплылись в туманные пятна. В этот момент дверь открылась, и ввели Риссена в наручниках.

Войдя в зал, он осмотрелся, но ни на ком не задержал взгляда, даже на мне. Хотя почему, собственно, он должен был особенно интересоваться мной? Откуда ему было знать, что сейчас, в отчаянии безнадежности, я жадно ловлю каждое его движение? На секунду у меня промелькнула надежда: а вдруг еще кто-нибудь в зале испытывает те же чувства? Вероятно, даже многие?

Риссен уселся на стул, приняв одну из своих обычных нескладных поз, закрыл глаза и улыбнулся устало и беспомощно, он ни к кому не обращал улыбку, прекрасно сознавая свое полное одиночество, и отдавался ему, ища в нем успокоения, как бредущий по ледяной пустыне

обессиленный путник отдается сковывающей дремоте, хоть и понимает, что никогда больше не проснется. И по мере действия каллокаина эта беспомощная улыбка все больше и больше преображала его изможденные черты, придавая им выражение покоя и умиротворенности. Я не отводил взгляда от его лица, и думаю, что если бы даже пришлось ждать несколько часов, я не мог бы оторваться от него. Где были раньше мои глаза, почему я не замечал, какое ни с чем не сравнимое достоинство таится в этом глубоко штатском, смешном на вид человеке?! Это достоинство не имело ничего общего с надменной суровостью, которую воспитывала военная служба, оно как раз и состояло в полнейшей непринужденности и абсолютном равнодушии к тому, как он выглядит и какого мнения о нем другие. Когда он открыл глаза и заговорил, я невольно подумал, что точно так же, откинувшись на спинку стула, он мог бы сидеть где угодно. Вот так же, глядя на ослепительно-белый потолок, он мог бы говорить без единой капли каллокаина. Он употреблял бы те же самые слова, потому что владевшие им чувства одиночества и пессимизма сильнее страха и стыда, которые сковывали нас. Я мог бы просто подойти к нему и попросить, чтобы он за-

говорил, и он сделал бы это так же добровольно, как Линда, просто в подарок. Он рассказал бы обо всем, что я хотел узнать: об умалишенных и их тайных традициях, о городе в пустыне и о себе самом, о своей тяге к неведомому — она была так сродни тому, что испытывала Линда. Да, он сказал бы все, если бы я, однажды поняв, что какая-то часть моего существа тайно и неодолимо отзывается ему, не выбрал бы путь вражды. Он говорил бы больше, чем сейчас, и, может быть, о гораздо более важных вещах: он и обо мне самом рассказал бы то, что я, наверное, никогда уже не сумею раскрыть. Меня мучило не чувство сострадания к нему, осужденному на смерть, а то, что, предав его, я предал самого себя. Я слушал его так же жадно, как прежде слушал Линду, только со все растущим чувством страха.

Я хотел бы больше узнать о нем самом, но его волновали общие проблемы.

— Вот и все, — начал он, — я здесь, так и должно быть, это только вопрос времени. Я здесь, чтобы сказать правду. Можете вы ее слушать? Люди не настолько искренни, чтобы выслушивать правду, это очень грустно. А ведь она могла бы стать тем мостом, что связывает человека с человеком, но только пока она добровольна, пока дается и

принимается как дар. Разве не удивительно, что все на свете, даже правда, теряет свою ценность, как только становится принудительным? Нет, вы, конечно, не замечали этого, потому что тогда вам пришлось бы понять и то, что вы нищие, ограбленные, что у вас отнято все, — а кто же стерпит такое! Кто захочет созерцать собственное убожество добровольно, без принуждения? И не люди к этому принуждают, а пустота и холод — мертвящий холод, полный ненависти. «Общность? — говорите вы. — Сплоченность?» И эти слова вы кричите над разделившей вас пропастью. Неужели не нашлось какого-то момента, одного момента на протяжении всей человеческой истории, когда можно было выбрать другой путь? Перекинуть мост через пропасть? Неужели нельзя остановить броневик насилия и не дать ему двигаться сквозь пустоту? Есть ли путь, ведущий через смерть к обновлению? Придет ли священный миг, который решит нашу судьбу?

Я годами думал о том, скоро ли он наступит. Может быть, когда мы поглотим соседнее государство или оно поглотит нас? Будут ли тогда пути от сердца к сердцу возникать так же легко, как они возникают между городами и районами? Только бы это время скорее пришло. Пусть

пришло бы со всеми своими ужасами. Или тогда уже ничто не поможет? Потому что броневик станет таким мощным, что не захочет из божества превращаться в простое орудие. И захочет ли когда-нибудь божество, самое мертвое из всех богов, добровольно отказаться от своей власти? Мне хотелось верить, что в человеке таятся зеленые глубины, океан нетронутых созидательных сил, которые могут поглощать остатки мертвечины, могут исцелять и творить… Но я не видел их. Я знаю только, что из рук больных родителей и больных учителей выходят еще более хилые дети, и в конце концов болезнь становится нормой, а здоровье — уродством. Одинокие производят на свет еще более одиноких, запуганные — еще более напуганных… Как же может хоть один здоровый росток пробиться сквозь броню? Несчастные, которых мы назвали сумасшедшими, тешились своими обрядами. Они, по крайней мере, чувствовали, что им чего-то не хватает. Пока они сознавали, что делают, им было к чему стремиться. Но, по существу, их путь никуда не ведет. Да разве вообще существует путь, который куда-то ведет? Если бы я вдруг очутился на станции подземки, целиком заполненной людьми, или где-то на большом празднике с микрофоном

в руках, кто услышал бы мои призывы? Ничтожная часть жителей Империи, да и те не обратили бы на них внимания. Кто я? Жалкий одиночка. У меня отняли жизнь… И все же именно в эту минуту я ощущаю, что живу. Я знаю, это каллокаин порождает неразумные надежды, это от него все кажется таким простым и ясным. Но я живу, хотя у меня все отняли, и именно сейчас сознаю, что мой путь куда-то ведет. Я видел, как силы смерти распространялись по свету все шире и шире, словно круги на воде, но должны же существовать и силы жизни, хоть мне и не удалось их увидеть! Да-да, понимаю, я говорю так, потому что на меня действует каллокаин, но разве это не может быть правдой?

Он на секунду умолк.

Когда я шел сюда, у меня в голове рождались фантазии одна нелепее другой, я представлял себе, как все слушатели в какой-то момент вдруг отвлекутся, и я смогу подойти и прошептать Риссену на ухо свои вопросы. Уже тогда я понимал, что это одна игра воображения и ничего такого не произойдет, так оно и вышло. Все как один смотрели на Риссена, ни на секунду не отводя взгляда. Но странное дело: теперь я сам не стал бы спрашивать, даже если бы мне представилась

возможность. Что мне город в пустыне, что умалишенные и их обряды! Ни один город в пустыне не казался таким недостижимым и в то же время таким надежным убежищем, как то, к которому я шел. И оно было не где-то в неизвестной дали, а рядом, совсем рядом. Линда должна у меня остаться. По крайней мере, она должна остаться.

Риссен вздохнул и закрыл глаза, но тут же снова открыл их.

— Они что-то предчувствуют, — прошептал он, — они боятся, обороняются — значит, предчувствуют. Предчувствует моя жена, когда заставляет меня молчать. Предчувствуют ученики, когда с самодовольным видом смеются надо мной. Может, это жена донесла на меня или кто-нибудь из учеников, но, кто бы это ни был, он предчувствовал. Когда я говорю, они словно слышат самих себя. Они боятся не меня, они боятся себя. О, если бы она существовала на самом деле, эта нетронутая зеленая глубина… Я верю, что она есть. Это все каллокаин, но я счастлив… что я… могу верить…

— Мой шеф, — сказал я судье, тщетно пытаясь сохранять равнодушный тон, — сделать ему еще инъекцию? Он сейчас придет в себя.

Но судья покачал головой.

— Не нужно, — сказал он, — случай достаточно ясный. А впрочем, каково будет мнение консультантов.

Консультанты одобрительно зашумели, соглашаясь с судьей. Через минуту все встали, чтобы удалиться на совещание. Но тут произошло нечто неожиданное. Молодой человек из группы Риссена вскочил со своего места, бросился к возвышению, где я как раз давал Риссену успокаивающие капли, и стал отчаянно размахивать руками, пытаясь остановить выходящих из комнаты представителей суда.

— Это я, это все из-за меня! — дико закричал он. — Это я написал донос на своего руководителя Эдо Риссена и обвинил его в антиимперском складе характера! Вчера по дороге на работу я бросил письмо в почтовый ящик, сегодня я узнал, что он уже арестован. Но все, кто его слышал… все, кто его слышал… должны признать…

Я спустился с помоста, подошел к юноше и закрыл ему рот рукой.

— Успокойтесь, — прошептал я, — вы ничего не добьетесь и не спасете его, а только навредите себе. Не вы один донесли на него.

Вслух я сказал:

— Подобные высказывания лиц, потерявших

самообладание, совершенно недопустимы во время следствия. Попрошу вас, соратник на передней скамье, принесите, пожалуйста, стакан воды. А вы не волнуйтесь, придите в себя, все поймут и извинят вас: действительно, вы были вынуждены написать заявление на своего руководителя, и это привело вас в смятение, как любого честного молодого солдата. Но прошу вас, не принимайте этого так близко к сердцу. Сядьте, не нужно оправдываться. Все в порядке.

Он выпил воды и смущенно взглянул на меня. Кажется, он хотел еще что-то сказать, но я шепнул, чтобы он молчал, и пообещал поговорить с ним потом, когда все кончится. Он сел на край передней скамьи и закрыл глаза.

Когда я поднялся на помост, Риссен, уже полностью придя в себя, сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой. Он по-прежнему улыбался, только теперь в улыбке его была горечь. Вдруг он встал и, пошатываясь, сделал несколько шагов навстречу аудитории. Я не мог, да и не хотел останавливать его.

— Все, кто слышал меня сейчас… — начал он, и меня пробрала дрожь.

Он говорил негромко и угрюмо, но голос его, казалось, проникал во все уголки — была в нем

сила и проникновенность, которые я не забуду до самой смерти.

Двое полицейских — они все время стояли наготове за спиной Риссена — бросились вперед, засунули ему в рот кляп и силой посадили обратно на стул. В зале стояла мертвая тишина. Открылась дверь, и вошли консультанты с судьей, медленным шагом они прошествовали на свои места, и судья приготовился огласить приговор. Весь зал встал. Риссена полицейские тоже подняли и поставили по стойке «смирно».

— Бациллоноситель должен быть обезврежен, — начал судья торжественным тоном. — Но индивид, который буквально всеми своими порами источает недовольство нашими порядками и учреждениями, недостойный пессимизм и малодушное неверие в способность нашей великой Империи отразить разбойничьи нападки пограничной державы, — такой индивид безнадежен. Он представляет опасность для Империи, где бы он ни жил и на какой бы работе ни находился. Он не может быть обезврежен иначе, как посредством смертной казни. Такого же мнения придерживается большинство экспертов. Эдо Риссен приговаривается к смерти.

В зале по-прежнему стояла торжественная

тишина. Юноша, написавший донос, сидел неподвижно, белый как мел. Риссена, все еще с кляпом во рту, вывели. Дверь за ним захлопнулась, а я все еще стоял. Сам того не сознавая, я мысленно провожал его шаг за шагом.

Когда я несколько пришел в себя, юноша уже исчез. Но поскольку он занимался на курсах, найти его не составляло труда. Чисто механически мой мозг переключился на повседневные дела: кто поведет теперь группу Риссена, может быть, один из наиболее способных студентов; могут назначить и меня, но кто тогда возьмет мою группу; у нас на очереди еще много народу, впрочем, курс обучения подходит к концу, и скоро можно будет набрать новый поток… Но все эти мысли текли как бы своим чередом, независимо от меня, а я сам был где-то далеко.

Вернувшись в собственную аудиторию, которая как две капли воды походила на ту, где велось следствие, я почувствовал, что мне все-таки придется сослаться на недомогание и уйти домой. Я больше не мог ломать комедию.

Дома я зашел в спальню взрослых, запер дверь, лег на постель и погрузился в полудремоту. Рядом горел ночник, над головой жужжал вентилятор, за стеной возилась горничная. Я слышал,

как хлопнула дверь, когда она вышла и потом вернулась с детьми. Зазвенели голоса Марил и Лайлы, они подняли шум, а горничная пыталась их угомонить. Потом заскрипел кухонный подъемник, громко задребезжали тарелки. Я отчетливо слышал все эти звуки и не слышал только голоса Линды — он единственный был мне сейчас нужен.

Стук в дверь заставил меня вскочить. Горничная за стеной спросила:

— Мой шеф, вы будете ужинать?

Я пригладил волосы и вышел. Линды не было. Время ужина уже давно прошло. Я напрасно пытался сообразить, из-за чего она могла так задержаться. Обычно, если у нее были какие-то дела, она сначала все-таки заходила домой поесть. Но ради самой Линды я должен был скрывать свою тревогу перед горничной.

— Да-да, — сказал я, делая вид, будто что-то припоминаю, — жена говорила, что задержится, но где, зачем… Надо же, совсем вылетело из головы.

Дети легли спать, а я все еще ждал. Ушла и горничная. Я не выдержал, поднялся наверх и, уже не заботясь о том, что подумает вахтер, позвонил в Бюро несчастных случаев. Мне сообщили о нескольких авариях на дальних линиях

подземки, о поломках вентиляционных систем, причинивших кому-то увечья и смерть, но все это происходило не в том районе, где работала Линда.

Хуже всего то, что я больше не имел возможности сидеть и ждать. В моем подразделении сегодня состоится вечер, и без уважительной причины я не имел права оставаться дома. Никаким делом я сейчас заниматься не мог, но сидеть и слушать доклады, речи и барабанный бой был в состоянии. Если бы я только знал, где Линда!

Она говорила, что нужно искать. Она хотела найти других людей, которые поняли то, что понимала она. Но разве она знала, где они? Откуда она начала поиски?

Пора было идти, и я собрался — чисто механически. Мне даже в голову не пришло, что можно прогулять и остаться дома. Тогда я еще не знал, что больше никогда не увижу Линду.

* * *

Я собирался слушать доклад, но ничего не получалось. Время от времени мне удавалось сосредоточиться и уловить некоторые мысли. Насколько я помню, речь шла о развитии имперской жизни — от отдельных, примитивно организованных групп, живших в вечном страхе перед силами природы и другими подобными же группами, — к могучей и совершенной Империи. Лишь она одна придавала смысл жизни отдельных индивидуумов, она одна обеспечивала им уверенность и безопасность. Это была основная идея доклада, деталей я не запомнил. Как я ни пытался заставить себя слушать, мысли о Линде, Риссене и о том новом мире, что уже существовал и только должен был пробить себе дорогу, вновь и вновь отвлекали меня, и я забывал об окружающем. А возвращаясь к действительности, чувствовал, что просто не могу сидеть на месте. Мое существо, мускулы, кожа — все требовало движения. Если вот сейчас же я не встану, то просто не выдержу, со мной что-то произойдет.

И примерно на середине доклада я встал и

пошел к выходу. Ближайший ко мне полицейский секретарь неодобрительно поднял брови, а дежурный у дверей остановил меня вопросительным взглядом. Я назвал ему свое имя и в подтверждение предъявил пропуск для выхода на поверхность

— Простите меня, соратник, но мне очень нехорошо, — сказал я. — Думаю, станет лучше, если несколько минут подышать свежим воздухом. Я болен, целый день лежал, пришлось даже уйти с работы…

Он записал, как меня зовут, отметил время и открыл дверь.

Я вошел в лифт и поднялся наверх. Здесь я повторил вахтеру свою просьбу, он тоже записал время и выпустил меня.

Я вышел на крышу-террасу.

И мне сразу же стало не по себе. Что-то незнакомое и жуткое подстерегало меня на пустой террасе. Еще ничего не видя, я почувствовал дикий страх. И лишь немного спустя понял, в чем дело. Не было привычного гула самолетов, заполнявшего воздух днем и ночью. Кругом стояла тишина. В жилых домах и служебных помещениях вообще-то тоже было сравнительно тихо, шум подземки и самолетов, проходя сквозь стены

и толстый слой почвы, превращался в слабое убаюкивающее жужжание. В этом монотонном звуке есть нечто успокаивающее и приносящее облегчение — так же, как в тех минутах, когда сон обволакивает тебя и ты, скорчившись под одеялом, чувствуешь себя одиноким и маленьким. Но тишина на крыше совсем не походила на это относительное спокойствие. Она была безграничной.

Во время ночных переходов или возвращаясь домой с докладов и праздников, я множество раз видел над головой звезды. Они мелькали между подвижными силуэтами аэропланов, но я никогда не присматривался к ним. Как бы они ни светили, все равно нельзя было обойтись без фонарика со светомаскировкой. Я как-то слышал, что для других галактик эти звезды — все равно что для нас солнце, но их свет не вызывал у меня никаких эмоций. Сейчас, в этой беспредельной тишине, я вдруг почувствовал, как огромна Вселенная, как бесконечны пустые мировые пространства, отделяющие одну звезду от другой. Великое, всеохватывающее Ничто предстало передо мной, у меня закружилась голова и перехватило дыхание.

А потом до меня донесся звук, которого я ни-

когда раньше не слышал, хоть источник его и был мне знаком, — шум ветра. Легкого ночного ветерка, который, пробравшись между стенами, покачивал стебли росших на террасе олеандров. Его тихий шелест наверняка был слышен только здесь, ну, может быть, еще неподалеку, но я не мог избавиться от ощущения, что это дыхание всего погруженного во тьму мирового пространства, такое же легкое и естественное, как сонное посапывание ребенка. Ночь дышала, ночь жила, и, насколько я мог видеть, всюду, как сердца, пульсировали и мерцали звезды, посылая в мир трепетные волны жизни. Когда я пришел в себя, увидел, что сижу на ограде террасы, и почувствовал озноб. Ночь была теплая, почти жаркая — меня трясло от возбуждения. Порывы ветра стали слабее, и я теперь уже знал, что он рождается не в глубине мировых пространств, а в воздушном слое, прилежащем к земле. Звезды сверкали так же ярко, но я вспомнил, что пульсация света не что иное, как оптический обман. Только сейчас это не имело никакого значения. Ибо все, что я видел и ощущал, превратилось в оболочку другой Вселенной, другого мира, рождавшегося где-то под сухой и сморщенной скорлупой, которую я так долго осознавал как

собственное «я». Я чувствовал, что коснулся той живительной глубины, к которой взывал Риссен, которую познала Линда. «Видишь, это струится жизнь», — сказала женщина из моего сна. Я верил ей, верил, что сейчас может произойти что угодно, даже самое невероятное.

Я не хотел возвращаться обратно и опять слушать доклад. То, что мое отсутствие заметят, меня ничуть не волновало. Вся эта суета, царившая сейчас в тысячах подземных залов Четвертого Города Химиков, была мне чужда и казалась попросту нереальной. Я не имел к ней никакого отношения. Я был одним из тех, кто создает новый мир.

Я хотел домой, к Линде. А если она еще не пришла? Ну что ж, тогда я пойду к тому юноше, что донес на Риссена, пойду к жене Риссена… Где найти юношу, я не знал, но адрес Риссена у меня был: он жил в районе лаборатории, так что я со своим пропуском мог пройти туда когда угодно. Я вспомнил слова Риссена: «Может быть, это жена предала меня, потому что предчувствовала». Если она сопротивлялась так же отчаянно, как я, значит, была близка к пониманию. Сначала домой, потом к ней. У меня больше не оставалось сомнений — я был одним из тех, кто создает но-

вый мир.

Никто не искал меня. Стараясь производить как можно меньше шума, я перелез через низкую стену, отделявшую крышу от улицы. Мои шаги гулко отдавались в тишине, но я даже не подумал о том, что могу привлечь чье-то внимание. И в самом деле, никто меня не остановил. Ни один самолет не проносился по небу, ничто не заслоняло звезд, и потому на улице было так светло, что я даже не стал зажигать карманный фонарик. Я шел по земной поверхности под мерцающими звездами, и удивительное ощущение владело мной: никого рядом не было, а я не чувствовал себя одиноким. Ведь так же, как я сейчас шел к познанию неведомого, глубокой внутренней связи всего живого, так, может быть, шла и Линда. И кто мог поручиться, что еще какие-то неизвестные нам люди во многих и многих городах Мировой Империи не вступили на тот же путь и, возможно, даже завершили его? Кто мог поручиться, что миллионы людей не пришли в движение — открыто или тайно, добровольно или по принуждению, — и не только в нашей Империи, но и в соседнем государстве? Лишь несколько дней назад такая мысль вызвала бы у меня дрожь ужаса, но что государственные

границы тому, кто почувствовал, как его сердце бьется в унисон с сердцем Вселенной!

В стороне я услышал характерный шаг патрульных, с четкими интервалами и легким скрипом на поворотах. Этот звук совсем не подходил к мирной тишине ночи. Интересно, какие чувства вызывает у патрульных ночное безмолвие, о чем они сейчас думают? Ну а я сам? Только сейчас мне в голову пришел простой вопрос: почему на улицах так тихо? Но я задумался только на секунду. Ответа я все равно не знал, да он меня и не интересовал. Важна была только цель моего пути.

Вдруг в отдалении возникло слабое жужжание, и вскоре я понял, что это шум моторов. Самолеты появились снова. То ли из-за резкого перехода от тишины, то ли из-за того, что самолеты в этот раз гудели особенно громко, но рев моторов показался мне непереносимым, и я прислонился к стене, ожидая, пока уши привыкнут к шуму.

Воздух внезапно потемнел, стал густым и мглистым, вокруг зашевелились какие-то тени. Я скорее почувствовал, чем увидел, что рядом со мной откуда-то возникли непонятные фигуры. Я зажег фонарь и в полуметре от себя увидел человека. Да это же парашютисты! В тот же момент мне в лицо вонзились лучи нескольких мощных

фонарей, сильные руки схватили меня.

Я решил, что это ночные учения Военно-воздушных сил, и, отчаянно напрягая голос, прокричал:

— Я болен! Я шел к подземке. Отпустите меня, соратники.

Может, они не расслышали или у них был особый приказ, только они тут же обыскали и обезоружили меня (из-за праздника я был в военно-полицейской форме), а потом связали. Несколько человек торопливо собрали из отдельных деталей нечто вроде трехколесного велосипеда, это сооружение, как я понял, служило у них для перевозки пленных, затем меня усадили на багажник и крепко привязали. Один из солдат вскочил на сиденье, и мы поехали.

Видимо, в план учений входил и захват пленного, и мне волей-неволей пришлось сыграть эту роль. Ничего не поделаешь, но я не сомневался, что рано или поздно выполню то, что задумал.

На нашем велосипеде был укреплен фонарь, и при его свете я мог видеть все, что творится вокруг. Еще минут десять-пятнадцать назад вокруг не было ни души, а сейчас все улицы, площади, крыши-террасы так и кишели людьми. При этом, как я заметил, каждый был занят какой-то определенной работой. Даже в своем положении я не

мог не восхищаться великолепной организацией этих гигантских по масштабам ночных маневров. И чем дальше мы продвигались, тем активней кипела работа. Я видел, как воздвигают заграждения из колючей проволоки (успеют ли снять их до утра, когда люди пойдут на работу?), как протягивают какие-то шланги и возят в разных направлениях цистерны. У каждого жилого дома и каждой станции подземки поставили по солдату. Время от времени нам попадались велосипеды с такими же, как я, пленниками на багажнике, и я пытался угадать, куда они везут нас.

Наконец мы остановились на одной из площадей перед большой палаткой, установленной на крыше жилого дома. Здесь уже стояло много других велосипедов. Пленникам освобождали ноги (руки оставались связанными) и вводили в эту палатку. С одним я столкнулся перед входом, он оказывал солдатам отчаянное сопротивление и все время громко кричал, что это безобразие, что он патрульный и для своих упражнений они бы лучше ловили кого-нибудь другого. Кто сейчас выполняет его обязанности? Как он завтра оправдается перед начальством? В палатке было гораздо тише, чем на улице, — внутри стоял специальный глушитель, так что солдаты, конечно,

слышали все выкрики патрульного и могли бы удостоить его ответом. Но тут до меня донесся разговор двух охранников, из которого я не понял ни слова. Язык был совершенно чужой, на наш непохожий. И тут меня осенило, что мы не жертвы ночных маневров, а пленники врага.

Я и по сей день не знаю, как готовилась эта операция. Вероятно, противник постепенно и методически засылал в нашу авиацию своих агентов, и в конце концов все самолеты до единого оказались в их руках. Или измена и бунт, вспыхнув в одном месте, мало-помалу распространились дальше — не знаю. Можно строить разные предположения, одно фантастичнее другого, бесспорно лишь одно: все обошлось даже без боя. Умело подготовив нападение, противник застал нас врасплох.

Палатка, куда меня ввели, была перегорожена надвое. Пленники ждали в одной половине, и время от времени их по одному впускали в другую. Там сидел офицер высокого ранга, окруженный секретарями и переводчиками. Ко мне он обратился на нашем, хотя и ломаном, языке. Мне велено было назвать свое имя, профессию, должность и военный чин. Один из подчиненных наклонился к начальнику и сказал что-то. Слов

я не разобрал, но, взглянув на лицо говорившего, вздрогнул. Не был ли это один из моих курсантов? Впрочем, определить это с полной уверенностью я не мог. Между тем на лице начальника появилось выражение заинтересованности.

— Ага, — сказал он, — вы, оказывается, химик и сделали важное открытие. Если вы передадите его нам, вам сохранят жизнь.

Потом я часто размышлял над тем, почему ответил ему «да». Не из страха. Я и так боялся почти всю свою жизнь, был попросту трусом, да и эта книга не что иное, как рассказ о моей трусости, но именно тогда я не испытывал страха. Безграничное разочарование и сожаление о том, что я так и не приду к людям, которые, может быть, ждут меня, заполняли меня в ту минуту. Жизнь не представляла для меня никакой ценности. Умереть или жить в заключении — не все ли равно! Вот только путь к другим людям был для меня закрыт. Позже, когда я сообразил, что дело не в открытии, что они все равно оставили бы меня в живых, так как и у них рождаемость была крайне низкая и они никак не могли возместить потери Великой войны, так вот, даже поняв это, я не испытал никакого раскаяния. Я отдал им свое открытие просто потому, что хотел сохранить

его. Пусть Четвертый Город Химиков лежит в развалинах, пусть вся Империя превратится в выжженную пустыню, я, по крайней мере, могу надеяться, что где-то в другой стране, среди чужого народа, еще одна Линда заговорит сама, добровольно, когда ее захотят принудить, и группа пораженных страхом доносчиков опять будет слушать нового Риссена. Конечно, это заблуждение, ибо ничто в истории не повторяется, но что еще мне остается? Чем бы я жил все эти годы?

Как я попал в чужой город, в тюремную лабораторию, как работаю здесь под стражей, я уже рассказывал. Я рассказывал о том, что в первые годы заключения меня постоянно терзали страх и тяжелые думы. Я ничего не смог узнать о судьбе своего города, но мало-помалу пришел к выводу, что противник замышлял при помощи отравляющих газов выкурить всех жителей из подземных домов на поверхность и взять их в плен. Может быть, запасы кислорода в городском резервуаре были настолько велики, что люди смогли какое-то время продержаться, а может быть, они оказались настолько мужественными, что предпочли рабству смерть, — об этом я могу только гадать. Не исключено и то, что подоспела помощь и из вражеской осады вообще ничего не

вышло. Но, как я уже говорил, все это только мои предположения.

Но, что бы ни случилось, возможно, Линда осталась в живых. Да и Риссен тоже, если в ту ночь его не успели казнить. Да-да, все это фантазии, но если бы я прислушивался только к голосу трезвого рассудка, мне пришлось бы остаток своих дней предаваться безысходному отчаянию. И если этого нет, то лишь потому, что инстинкт самосохранения побуждает меня искать спасения в иллюзиях. Риссен сказал на суде: «Я знаю, что мой путь куда-то ведет». Я не очень четко понимаю, что он имел в виду. Но случается, когда я с закрытыми глазами сижу на своей койке, то снова вижу мерцание звезд и слышу шум ветра, как той ночью, и я не могу, не могу изгнать из своей души веру в то, что вопреки всему когда-нибудь я еще буду среди тех, кто создает новый мир.

Заключение цензора

Учитывая, что содержание данных записок во многих отношениях носит аморальный характер, Цензурное управление решило поместить их в фонд запрещенных рукописей при Секретном архиве Соединенных государств. Цензурное управление не сочло нужным уничтожить рукопись, потому что ее содержание может быть использовано исследователями для изучения психологии жителей соседней страны. Автором данных записок является заключенный. Он по-прежнему работает в лаборатории, однако надзор над ним усилен, с тем чтобы он не мог употреблять казенную бумагу и перья не по назначению. Этот заключенный со своей тайной нелояльностью, трусостью и заблуждениями может служить поучительным примером того вырождения, которое характерно для страдающего неполноценностью населения соседней страны. Видимо, это вырождение является следствием малоизвестного неизлечимого наследственного заболевания, которого избежала наша нация и которое в случае проникновения

заразы через рубеж может быть обнаружено благодаря препарату, пущенному в производство при помощи вышеупомянутого заключенного. Я призываю тех, кто будет распоряжаться хранением и выдачей данной рукописи, к величайшей осторожности; тех, кто будет ее читать, — к сугубо критическому восприятию, а также к глубокой вере в успешное развитие и счастливое будущее Соединенных государств.

Хунг Пайфо, цензор